

АЛЕКСЕЙ НЕБОХОДОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕТЕР

18+

Алексей Небоходов

Возвращение Гетер

«Автор»
2026

Небоходов А.

Возвращение Гетер / А. Небоходов — «Автор», 2026

Продолжение романа «Когда молчат гетеры» — двадцать лет спустя, другая Москва, другие хозяева, та же древняя игра.1975 год. Ночь. Кремлёвская больница дремлет под казённым абажуром. По коридору режимного крыла идёт женщина в белом халате — тихо, чинно, будто тень. Под халатом — французское кружево, маленький мятеж против советской марли. Через час она будет мертва. Через сутки — зарыта с почестями. А через полгода её дочь окажется в том же борделе, где погибла мать, — не зная, что идёт по ковровой дорожке, залитой чужим потом и партийным одеколоном. Что борделем правит тысячелетний инкуб из кабинета ЦК. Что в кланах суккубов зреет бунт. И что единственное оружие против бессмертного зла — древнее, телесное и женское.Настоящее произведение является художественным вымыслом. В основу положены реальные исторические события и общественная атмосфера середины 1970-х годов. Все персонажи, их судьбы и диалоги — плод авторского воображения. Любые совпадения с реальными лицами случайны.

© Небоходов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ночная смена 5
Глава 2. Семья 14
Глава 3. Гостья на похоронах 25
Глава 4. Любой ценой 34
Глава 5. Записная книжка 45
Глава 6. Персонал для избранных 55
Глава 7. Падение 65
Конец ознакомительного фрагмента. 69

Алексей Небоходов
Возвращение Гетер

Глава 1. Ночная смена

Больничный коридор обдал Анну Никоновну холодным стерильным воздухом. Март 1975 года выдался промозглым и затяжным, но здесь, в режимном крыле больницы 4-го управления Минздрава, времена года не имели значения. Постоянная температура поддерживалась системой вентиляции, чистота — руками санитарок, тишина — молчаливым согласием всех, кто здесь работал. Анна поправила воротничок белого халата и машинально проверила, не выбилась ли прядь из аккуратно уложенного пучка волос. В этот поздний час полированный линолеум блестел под лампами дневного света, отбрасывая блики на стены, выкрашенные в зеленовато-бежевый цвет — оттенок, который, кажется, существовал только в советских больницах.

Каблуки туфель отбивали чёткий, уверенный ритм — негромкий, но отчётливый в ночных коридорах и принадлежавший только ей. Анна давно заметила, что походка меняется в зависимости от того, насколько человек уверен в праве находиться здесь в этот час. Медсёстры ходили торопливо, почти на цыпочках, стараясь не нарушать тишину. Санитарки шаркали — усталые ноги в разношенных тапочках едва отрывались от пола. Врачи на ночных дежурствах — тяжело, с нарочитой уверенностью, за которой стоял страх перед внезапным ухудшением состояния пациентов. Анна Никоновна ходила иначе — размеренно и точно, с выверенностью, наработанной за полтора десятилетия. И только она знала, сколько усилий стоила эта выверенность.

Режимное крыло располагалось в дальнем конце главного корпуса, на четвёртом этаже. У отдельного лифта стоял человек в сером костюме с характерной выправкой офицера 9-го управления КГБ — из тех, кого называли «девятками». Второй дежурил у лестницы — молодой, подтянутый, с едва заметной выпуклостью под мышкой левой руки. Анна кивнула ему, назвав по имени-отчеству. В ответ — короткий кивок, ни улыбки, ни вопроса. За пятнадцать лет она выучила их кодекс: минимум слов, максимум внимания. Но знала, что под сдержанностью скрываются обычные мужчины с семьями, болезнями, проблемами, — и умело использовала это знание.

Днём здесь царила деловитая суета — консультации, обходы, назначения. После полуночи всё менялось. Дневной свет сменялся тусклым ночным — включали только каждую третью лампу, углы погружались в темноту. На закрытом этаже лечились те, для кого не существовало обычных советских больниц: высокопоставленные партийные работники, генералы, директора крупных предприятий, дипломаты из дружественных стран. И проводились процедуры, не значившиеся ни в одном медицинском справочнике.

Анна сбавила шаг возле поста дежурной медсестры. За стеклянной перегородкой над журналом склонилась Нина Петровна — немолодая, с морщинистым лицом и взглядом, за тридцать лет привыкшим не замечать лишнего.

— Добрый вечер, Нина Петровна, — голос Анны звучал ровно и спокойно, как и полагается врачу высшей категории.

Медсестра подняла глаза, кивнула и тут же с преувеличенным вниманием вернулась к записям.

— Товарищ из семнадцатой уже прибыл. Полчаса назад, — произнесла она, не поднимая взгляда. — Давление в норме, пульс ровный. Жалоб не предъявлял.

«Товарищ из семнадцатой». Ни имени, ни должности — номенклатурный пациент без лица и личности, номер палаты — и ничего больше. Так работала система в этих стенах: не называть, не упоминать, не фиксировать ничего, что могло бы когда-нибудь стать уликой. Документация по таким визитам хранилась отдельно, в сейфе главврача, под кодовыми обозначениями.

— Хорошо. Я проведу восстановительные процедуры, как обычно, — отозвалась Анна, поправляя манжет на левом рукаве. Под накрахмаленной тканью скрывался тонкий золотой браслет — единственное украшение, которое она никогда не снимала. Подарок от человека, чьё имя не произносилось вслух.

Нина Петровна кивнула и повернулась к шкафу с документацией. Спиной к коридору — а значит: не видела, не слышала, не знает. И через час, когда дверь снова откроется, — тоже не увидит и не услышит.

Анна продолжила путь. Коридор заканчивался развилкой. Налево — палаты для обычных процедур, тех, что вносились в истории болезни. Направо — блок для «восстановительных», о которых никаких записей не сохранялось. Свернула направо. Здесь было всего три двери с маленькими латунными табличками: «Процедурная 1», «Процедурная 2», «Процедурная 3».

За ними существовала другая больница — не упоминавшаяся ни в одном официальном отчёте. Комнаты, где лечили не столько тела, сколько растревоженное самолюбие влиятельных мужчин, где назначались не лекарства, а особые виды утешения, и где восстановлением считалось то, что за пределами этих стен назвали бы иначе.

Анна остановилась перед дверью с табличкой «Процедурная 2». Глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Отработанный ритуал: одёрнула халат, проверила причёску, расправила плечи, слегка приподняла подбородок. Переход из одного состояния в другое — из доктора Ставицкой, терапевта высшей категории, в Анечку без фамилии и звания, женщину-услугу из закрытого перечня привилегий для партийной элиты.

Под халатом было дорогое французское бельё — кремовые кружева, шёлк, тонкие бретельки — контрабанда, провезённая через полдюжины границ в дипломатическом багаже. Подарок от одного из «пациентов», считавшего, что женщина с такой внешностью не должна носить советское хлопковое бельё блёклых расцветок. Анна редко принимала подарки, но этот взяла. Бельё скрыто от посторонних глаз — маленькая тайна, последнее доказательство того, что выбор ещё существует.

За дверью ждал очередной мужчина, облечённый властью, который видел в ней не врача, а красивое тело, доступное благодаря его положению. Анна давно научилась позволять им так думать. Проще и безопаснее.

Она открыла дверь без стука. В особых палатах не стучали — стук подразумевал границу, а здесь границ не существовало.

«Процедурная 2» лишь отдалённо напоминала больничную палату. Кровать шире стандартной, с немецким ортопедическим матрасом. Вместо казённых серых одеял — белоснежное постельное бельё, вместо типовых тумбочек — антикварный столик красного дерева, вместо больничных занавесок — тяжёлые бархатные шторы, когда-то бордовые, выцветшие за годы до приглушённо-винного. На потолке — лепнина и жёлтое пятно от давней протечки: даже в привилегированных палатах сантехника оставалась советской.

Единственное, что выдавало медицинское назначение комнаты, — капельница в углу, пустая и ненужная, но готовая к использованию. В случае проверки она становилась алиби: здесь пациентам вводили особые витаминные составы, требующие уединения и покоя.

В глубоком кресле у окна сидел грузный мужчина лет шестидесяти. Обрюзгшее лицо с мешками под глазами — многолетнее употребление коньяка и ночные застолья. Редкие волосы

тщательно зачёсаны набок. На столике — начатая бутылка и два хрустальных бокала, неизменный ритуал каждого визита.

Пиджак с орденскими планками висел рядом на спинке стула. Пять разноцветных полосок: орден Ленина, два Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд». За каждой — годы аппаратных интриг, своевременных рукопожатий и молчания, когда требовалось молчать.

Анна затворила за собой дверь. Мужчина в кресле оторвался от бокала и поднял глаза, скользнув взглядом по её фигуре с неизменной смесью вожделения и снисходительности.

— А, Анечка, — голос оказался неожиданно высоким для такой комплекции, с хрипотцой заядлого курильщика. — Заставляешь ждать товарища Кулагина. Нехорошо.

Заместитель министра среднего машиностроения. Десятки закрытых НИИ — под его началом, от одной подписи зависят судьбы целых городов. Раз в месяц приезжает на «профилактический осмотр» и каждый раз просит именно доктора Ставицкую.

— Прошу прощения, товарищ Кулагин. Срочная консультация в реанимации, — солгала Анна. Он не проверит. Никто не проверял — часть негласного уговора: они делают вид, что покупают её время, она делает вид, что приходит по собственному выбору.

— Ну-ну, всё с вашей реанимацией, — махнул рукой с толстыми пальцами — на одном поблёскивал золотой перстень с рубином. — Раздевайся давай. Времени в обрез, к утру должен быть на совещании у товарища Киреева.

Анна кивнула. Лицо оставалось бесстрастным. Много лет назад она научилась разделять сознание и тело, существовать одновременно внутри и снаружи. Пока руки механическими движениями расстёгивали пуговицы, сознание отстранялось, уходило вглубь, туда, где никто не мог достать.

В голове звучала ария из «Пиковой дамы» — музыка, которую ставила на проигрывателе в те редкие вечера, когда оставалась дома одна. Четырёхкомнатная квартира на Чистых прудах досталась от отца — привилегия бывшего члена ЦК, — но и привилегии требовали платы. Должность в больнице 4-го управления, импортные лекарства для отца, место Елены в институте — всё держалось на её готовности приходить сюда по ночам. И она приходила и платила — каждый раз напоминая себе, что делает это ради детей, ради отца. Ради будущего, которое в этой стране строилось не столько трудом, сколько связями.

Халат соскользнул с плеч. На мгновение Анна замерла, поймав своё отражение в оконном стекле. В полутьме она выглядела моложе своих сорока: стройная фигура, которую поддерживала ежедневной гимнастикой, тёмные волосы в строгом пучке — сейчас начнёт медленно вынимать шпильки. Бледное лицо с высокими скулами и тёмными глазами, в которых не осталось ничего, кроме усталости, невидимой для мужчин вроде товарища Кулагина.

— Давай-давай, не тяни, — поторопил Кулагин, отхлебнув из бокала. — И музычку бы включить. У тебя там была пластиночка хорошая, итальянская…

Анна подошла к проигрывателю и поставила пластинку — контрабандная запись Марио дель Монако. Ещё одна привилегия закрытого этажа: музыка, которой не было на советском радио.

Первые ноты арии Каварадосси из «Тоски» наполнили комнату. Анна закрыла глаза, позволив музыке унести сознание далеко отсюда. Потом открыла — и начала расстёгивать блузку.

Пальцы двигались в такт музыке, перламутровые пуговицы расстёгивались одна за другой. Блузка распахнулась, открыв кремовый шёлк бюстгальтера с тончайшим французским кружевом по краям чашечек. Сняла, аккуратно повесила на спинку стула. Расстегнула юбку — та соскользнула вниз, открыв плавную линию бёдер в шёлковых трусиках в тон, с такой же кружевной окантовкой и маленьким бантиком посередине. Бюстгальтер расстегнулся и упал к ногам — высокая грудь с розоватыми сосками. Трусики скользнули вниз, обнажив тёмный треугольник волос, аккуратно подстриженный по краям.

Анна стояла перед Кулагиным обнажённая. Он видел её десятки раз, но каждый раз реагировал с тем же тяжёлым, жадным дыханием. Тело знало, что делать. Разум мог отправиться куда угодно.

— Иди сюда, красавица, — хрипло выдохнул Кулагин, похлопывая ладонью по колену. — Каждый раз — как в первый, ей-богу.

Анна улыбнулась — не губами, только уголками рта. Такая улыбка не требовала участия глаз. Подошла медленно, покачивая бёдрами ровно настолько, чтобы казаться соблазнительной, но не вульгарной. Села на колени к Кулагину, почувствовала, как мясистая ладонь стиснула бедро.

— Виктор Семёнович, вы сегодня особенно напряжены, — произнесла тихо, опустив глаза. Голос звучал мягко, с певучей интонацией, которую она приберегала только для таких встреч. — Позвольте, я помогу вам расслабиться.

Руки потянулись к узлу галстука. Столько лет, столько мужчин, столько галстуков — советских, болгарских, чешских, иногда английских. Этот был из Парижа, судя по фактуре шёлка, — видимо, обладатель недавно вернулся из командировки. Узел поддавался неохотно, пальцы работали без спешки, пока мысли уже ускользали от блёклого лица с отвисшей нижней губой, от тяжёлого дыхания, в котором смешивались коньяк и болгарские сигареты «Шипка».

«Елена просила тушь для ресниц, — вспомнила Анна, расстёгивая рубашку Кулагина. — Ленинградскую «Ленту», синюю. Говорит, у подруги такая. Где же достать? У Нины в универмаге спросить? Или Маргарита Львовна обещала выручить, как поедет к сестре…»

Анна расстегнула рубашку «пациента» и помогла выпутаться из рукавов. Руки Кулагина тем временем двигались по её телу, оглаживая грудь, сжимая соски, скользя по спине. Со стороны это выглядело бы как страсть. Для Анны — ещё одна разновидность работы, на которую она реагировала отработанным образом: лёгкий наклон головы, тихий вздох, подставленная для поцелуя шея.

— Анечка, золотце, никто не умеет так, как ты… — бормотал Кулагин, притягивая её ближе, зарываясь лицом между грудями. — Эти молодые дурочки… Ничего не умеют… А ты — женщина…

Она слышала эти слова много лет, от разных мужчин, с разными интонациями. Тело отвечало заученным образом: выгибалось, подавалось навстречу, губы шептали нужные слова. А мысли текли дальше.

«Олегу нужны новые ботинки. Может, попросить достать через спецраспределитель? Хотя неудобно — и без того слишком часто приходится пользоваться. А если через комиссионку? Там на прошлой неделе видела импортные, югославские. Дорого, но качественные…»

Рука Кулагина скользнула ей между ног, надавливая с уверенностью человека, привыкшего получать желаемое. Анна ответила тихим стоном — не потому что чувствовала возбуждение, а потому что так полагалось.

— На кровать, — скомандовал Кулагин, шлёпнув по её бедру с силой, оставившей красный след на бледной коже. — Хочу тебя как следует…

Анна поднялась с его колен и прошла к кровати. Расположилась среди белоснежных простыней, зная, как выгоднее показать тело. Этому не учат в медицинском. Этому учит жизнь, когда дают понять, что квартира на Чистых прудах — не право, а одолжение, и что благополучие семьи зависит от твоей сговорчивости.

Кулагин, кряхтя, поднялся с кресла. Грузное тело с обвисшим животом и бледной, почти синеватой кожей двигалось к кровати. Неуклюже избавлялся от брюк, пыхтя и ругаясь, когда они застревали на ботинках, которые забыл снять.

«Сергей опять забыл оплатить телефонный счёт, — думала Анна, наблюдая за приготовлениями «пациента» с выражением нетерпеливого ожидания на лице. — Второй раз за три месяца. Хорошо, что заметила квитанцию на столе. Завтра нужно зайти в сберкассу до работы.

А ещё у него скоро день рождения. Что подарить? В прошлый раз был шерстяной шарф, но он его почти не носит… Может, запонки? Те, серебряные, в комиссионке на Арбате…»

Кровать прогнулась под тяжестью Кулагина. Навалился, прижимая её к матрасу, губы с жадностью впились в шею, оставляя влажные следы. Руки Анны обвились вокруг его шеи — правильный жест, правильная реакция. Тело раскрылось, принимая его, — так полагалось.

— Анечка, Анечка, — бормотал он, вторгаясь одним резким движением, без предисловий. — Какая ты горячая, боже мой…

Анна ответила тихим стоном и выгнулась навстречу. Боли почти не было — годы научили подстраиваться, расслабляться в нужный момент. Удовольствия не было тоже. Только отстранённое наблюдение: немолодой, потный, тяжело дышащий мужчина с красным от напряжения лицом — и она, с полуприкрытыми глазами, точно знающая, когда вскрикнуть, когда прошептать нежное слово, когда двинуть бёдрами навстречу.

«А ещё нужно вызвать сантехника, — крутилось в голове, пока тело двигалось в заданном ритме. — В ванной кран снова подтекает. И бабушке позвонить, она обещала связать Лене свитер к осени. Шерсть уже купила, бежевую, тонкую. Нужно уточнить размер».

— Сильнее, да… Вот так! Да… — хрипло командовал Кулагин, увеличивая темп, его хватка на её плечах усилилась до боли, от которой останутся синяки. Анна отметила это мимоходом — придётся несколько дней носить блузки с закрытыми плечами. И Сергею снова солгать. Синяки — от сумок, от ушибов в троллейбусе — арсенал оправданий давно отработан. Он поверит. Всегда верит.

Кулагин перевернул её на живот одним резким движением. Анна не сопротивлялась. В этой позе он не видел её лица, и она могла позволить себе сбросить выражение томного возбуждения. Он нависал сзади, толстый живот шлёпал её по ягодицам при каждом толчке, руки сжимали бёдра с силой, которая завтра превратится в россыпь сине-жёлтых пятен.

За окном — темнота. Анна повернула голову, взглянула на часы на тумбочке: четверть двенадцатого. Михалыч уже наверняка дремлет в такси у служебного входа, прислонившись к холодному стеклу. Подстроилась под ускорившийся ритм Кулагина. Скоро всё закончится — успеет доехать до Чистых прудов, принять душ до возвращения Сергея. Он задержится на кафедре — стопка непроверенных курсовых на столе не уменьшалась с утра.

Анна уткнулась лицом в подушку, позволяя себе на мгновение прикрыть глаза. Пятнадцать лет этой жизни. Пятнадцать лет двойного существования. Днём — терапевт, автор научных статей, мать двоих детей. Ночью — тело, которое используют за привилегии. Сергей даже не догадывается, какой ценой оплачена его спокойная жизнь.

Кулагин двигался всё быстрее, дыхание становилось рваным, прерывистым. Анна знала: скоро. Ещё несколько минут — и можно будет пойти в душ, смыть запах одеколона, пота, семени. Заставила себя двигаться энергичнее, отвечать на каждый толчок — чем активнее, тем быстрее закончится.

И вдруг что-то произошло — что-то незнакомое, не вписывающееся ни в один отработанный сценарий этих ночей.

Острая боль пронзила грудь — внезапная, незнакомая. Анна попыталась вдохнуть, но воздух застрял на полпути. Перед глазами поплыли тёмные пятна.

«Что происходит?! — мелькнула паническая мысль. — Неужели… Нет…»

Кулагин, не заметив перемены, продолжал двигаться, приближаясь к кульминации. Дыхание перешло в рычание, ногти ещё сильнее впились в кожу. Он был слишком поглощён собственным удовольствием, чтобы заметить, как Анна пытается перевернуться, как ладони судорожно цепляются за простыню.

— С-стой… — попыталась произнести она, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип.

Боль расширялась, заполняя грудную клетку, растекаясь по рукам, поднимаясь к шее. Лёгкие сдавило. Каждый удар сердца отдавался новой волной боли. Звуки доносились глухо — хриплое дыхание Кулагина, скрип кровати, ария Каварадосси, набирающая силу.

Анна с трудом повернула голову. Внезапно стало нечем дышать. Белая статуэтка балерины на столике у кровати вдруг расплылась, запульсировала, меняя форму, закружилась перед глазами, сливаясь в одно сплошное светлое пятно, которое стало стремительно уменьшаться, поглощаемое наступающей со всех сторон тьмой.

«Елена… Олег… Сергей…» — имена родных мелькнули в угасающем сознании.

Кулагин достиг пика, вскрикнув и вздрогнув всем телом — в этот момент сердце Анны, не выдержав, остановилось. Последняя мысль была не о семье, не о прожитой жизни. Неожиданно для себя она подумала о туши для ресниц для Елены: «Где же достать эту синюю тушь?..»

А затем наступила темнота.

Кулагин не сразу понял, что что-то не так. Только через несколько секунд, когда возбуждение начало отступать, заметил, что женщина под ним лежит слишком неподвижно. Не двигается, не дышит, не отвечает.

— Анечка? — позвал он, шумно переводя дух. — Ты чего?

Тишина. Только итальянский тенор продолжал петь.

Кулагин отстранился и перевернул Анну на спину. Голова безжизненно запрокинулась, глаза открыты, но взгляд застыл. Лицо приобрело синеватый оттенок.

— Твою мать… — выдохнул Кулагин. — Анна! Анна Никоновна!

Неуклюже затряс за плечи, потрясённо глядя, как безвольно болтается голова. Приложил пальцы к шее, ища пульс, хотя уже понимал, что не найдёт. Попытался сделать искусственное дыхание, с трудом вспоминая, как это делается, — но быстро понял бесполезность.

Паника накрыла его. Умерла!.. Здесь. Под ним. Посреди «восстановительного сеанса», официально не существующего, в крыле, предназначенном для других целей, в объятиях заместителя министра, который женат и должен быть примерным семьянином. Скандал. Крах карьеры. Позор. Исключение из партии. Может быть — суд.

Кулагин вскочил с кровати, путаясь в собственных ногах. Лихорадочно натягивал одежду, не попадая в рукава, застёгивая рубашку не на те пуговицы. Взгляд метался между телом на кровати и дверью.

— Помогите! — вскрикнул он, распахивая дверь и выскакивая в коридор. — Врача! Быстро!

Стоял в полутёмном коридоре в расстёгнутой рубашке, с перекошенным лицом, когда из-за поста выглянула Нина Петровна. Одного взгляда хватило, чтобы понять всё.

— Что случилось, товарищ Кулагин? — спросила она с профессиональным спокойствием.

За тридцать лет на этом посту она научилась считывать катастрофы по мелочам: неправильно застёгнутые пуговицы, капля пота на виске в прохладном коридоре и тишина из открытой двери, нарушаемая лишь финальными аккордами итальянской арии.

— Успокойтесь, товарищ Кулагин, — произнесла она тихо, но твёрдо, выходя из-за стеклянной перегородки. — Вернитесь в палату и закройте дверь.

— Но она… она не дышит! — голос Кулагина сорвался на фальцет. — Нужно вызвать скорую…

Нина Петровна обогнула его и заглянула в палату. Обнажённое тело Анны лежало на смятых простынях. Медсестра не засуетилась, не бросилась к телефону. Вернулась на пост, достала из ящика стола небольшую записную книжку в потёртой кожаной обложке и набрала номер, которого не было ни в одном больничном справочнике.

— Говорит Фиалка, — произнесла она после двух гудков. — Процедура «Туман» в палате два. Срочно.

В трубке щёлкнуло, раздались короткие гудки. Ни вопросов, ни уточнений — только сухой щелчок разъединения. Нина Петровна положила трубку и только тогда повернулась к Кулагину. Тот прислонился к стене коридора, дыша тяжело и неровно.

— Товарищ Кулагин, — голос стал жёстче. — Вернитесь в палату немедленно. Закройте дверь. Никуда не выходите. Сейчас прибудет специальная группа.

— Но… — начал он.

— Никаких «но». — Нина Петровна подошла вплотную. — Вы понимаете, что произошло ЧП особой категории? Каждая минута промедления усугубляет ситуацию. Возвращайтесь.

Командный тон подействовал на заместителя министра отрезвляюще — партийная дисциплина, вбиваемая годами, сработала на уровне рефлекса. Кулагин кивнул и нетвёрдой походкой направился обратно в палату.

Нина Петровна прикрыла за ним дверь и вернулась на пост. Достала из другого ящика бланк формы №118/К — «Протокол внештатной ситуации в режимном крыле». Шариковая ручка заскользила по бумаге, фиксируя время, место и участников инцидента сухим канцелярским языком. Почерк оставался ровным, без малейшего признака волнения.

Через семь минут после звонка в коридоре появились двое в белом, накинутом поверх тёмных костюмов. Прошли мимо поста, лишь слегка кивнув Нине Петровне. В руках у одного — чёрный кожаный чемоданчик, не стандартный медицинский, а офицерский, с особой системой замков. Второй нёс свёрнутый полиэтиленовый мешок телесного цвета.

В палату вошли молча, просто отворив дверь. Нина Петровна знала, что за ней происходит: вежливая, но твёрдая просьба к Кулагину пройти в соседнюю комнату, быстрый осмотр покойной, фотографирование, взятие образцов. Отлаженная последовательность действий, отработанная годами.

Вскоре в коридоре появился третий — в гражданском костюме, без медицинской формы. Этот даже не потрудился маскироваться. Прошёл к палате неторопливым, но целеустремлённым шагом сотрудника госбезопасности. Вошёл не задерживаясь и притворил за собой дверь.

Ещё через некоторое время из лифта вышел невысокий лысеющий мужчина с тёмными кругами под глазами — доктор Новицкий, заведующий патологоанатомическим отделением, которого вызывали только в особых случаях. Прошёл мимо Нины Петровны, приветственно махнув рукой, и скрылся за дверью палаты.

В коридоре стало тихо. Нина Петровна продолжила заполнять документы, изредка поглядывая на часы. К утру от происшествия не останется следов, кроме одной записи в секретном журнале, который хранится в сейфе у главврача. И даже эта запись будет предельно лаконичной: «Объект К. Нештатная ситуация. Операция «Туман» проведена».

Минуло около часа, когда дверь палаты открылась. Вышли двое в белом, между ними — Кулагин, заметно успокоившийся, хотя всё ещё бледный. Полностью одет, рубашка застёгнута правильно, галстук повязан безупречно. Человек в гражданском шёл следом с папкой документов.

— Товарищ Кулагин проследует с нами, — сообщил он Нине Петровне. — Проводим через подземный переход. Машина ждёт.

Нина Петровна кивнула. Не спросила, куда направляются, — не её дело. Кулагин проведёт остаток ночи в специальной палате соседнего корпуса, где его приведут в порядок, сделают успокоительный укол, а утром отправится на совещание к товарищу Кирееву, ради которого так торопился закончить «сеанс» с Анной Никоновной.

Процессия удалилась по коридору к служебной лестнице, ведущей в подземный переход. Теперь начиналась вторая часть операции.

Вскоре из второй палаты вышли двое санитаров с каталкой, накрытой серым больничным одеялом. На ней лежало что-то объёмное, но не покойная — слишком мало для взрослого

человека. Скорее, сложенная одежда и постельное бельё из палаты. Следом шёл молодой врач из патологоанатомического отделения с папкой в руках — не Новицкий, а его ассистент.

— Нина Петровна, распишитесь здесь, — сказал он, протягивая бланк. — Подтверждение о доставке белья в специальную прачечную.

Она молча поставила подпись. Санитары с каталкой прошли дальше — не к лифту, а к запасной лестнице, ведущей во внутренний двор, где стояла неприметная машина с красным крестом на борту. Не скорая помощь, а специальный транспорт для перевозки медицинских отходов. Простыни, наволочки, полотенца — всё, что могло содержать биологические следы произошедшего.

Позже появились две санитарки с вёдрами, швабрами и дезинфицирующими растворами. Прошли мимо Нины Петровны, не глядя на неё, — немолодые женщины с усталыми лицами и мозолистыми руками, обученные уборке помещений после «особых ситуаций». Одна толкала перед собой тележку с чистым постельным бельём, идентичным тому, что увезли.

Санитарки провели в палате почти час. За это время Нина Петровна успела заполнить все формы, сделать отметки в журнале дежурств и выпить чашку крепкого чая без сахара — никогда не подслащивала в ночную смену, считая, что это притупляет бдительность.

Когда санитарки вышли, от них пахло хлоркой и специфическим раствором, запах которого Нина Петровна научилась распознавать ещё в шестидесятых, когда только поступила на службу в это отделение.

— Готово, — коротко бросила старшая санитарка. — Комната чистая.

Ближе к рассвету из лифта вышел доктор Новицкий. Теперь — не в повседневной врачебной форме, а в хирургическом облачении, с бахилами на ногах и резиновыми перчатками, которые снял на ходу и бросил в специальный контейнер возле поста.

— Нина, дорогая, — устало сказал он, — дай-ка мне бланк заключения.

Она протянула бланк с грифом «Для служебного пользования». Новицкий достал из нагрудного кармана авторучку и быстро заполнил документ, опираясь на стойку поста.

— «Смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности… разрыв миокарда… на фоне хронической ишемической болезни сердца… во время исполнения служебных обязанностей…» — бормотал он, выводя буквы чётким, вопреки стереотипу, разборчивым почерком.

Закончив, протянул бланк Нине Петровне:

— Сделай две копии. Оригинал — в сейф главврача. Первая копия — для личного дела покойной. Вторая — для отчёта в министерство. Никаких других документов не оформлять. История болезни — стандартная, без отклонений. Последняя запись — вчерашний вечерний обход, все показатели в норме.

— Да, Александр Михайлович, — кивнула Нина Петровна.

Новицкий махнул рукой и направился к лифту, бормоча, что врачи загоняют себя до смерти и что диплом медицинского института не защищает от инфаркта.

Перед самым концом ночной смены в коридоре появились двое мужчин средних лет в тёмных костюмах. Вошли в палату, пробыли не более пяти минут, вышли, удовлетворённо кивнув Нине Петровне.

— Объект чист, — сказал один из них. — Завтра в восемь утра пришлём техников проверить проводку и вентиляцию. Для документации.

Нина Петровна кивнула. «Техники» — специалисты из особого отдела КГБ — проведут финальную проверку помещения, а заодно составят акт о проведённой профилактике инженерных систем. Этот акт станет единственным упоминанием о том, что сегодня ночью в палате кто-то вообще находился.

К рассвету режимное крыло снова погрузилось в тишину. Нина Петровна закончила заполнять документы, спрятала секретные бланки в сейф и теперь пила второй за ночь чай,

глядя в окно на предрассветную Москву. Где-то там, в городе, спала семья Анны Никоновны — Сергей, дети, отец. Утром к ним приедут двое в штатском — вежливые, сдержанные, с отработанными фразами соболезнования. Расскажут о трагической случайности, о том, как врач умерла на ночном дежурстве от сердечной недостаточности. Покажут документы, предложат помощь с организацией похорон за счёт министерства. Может быть, намекнут на персональную пенсию для семьи.

По крайней мере, Нина Петровна верила, что так и будет — семья не узнает ни о палате, ни о заместителе министра, ни о том, чем на самом деле были ночные дежурства Анны Никоновны последние пятнадцать лет.

С приходом утра прибыла дневная смена. Молоденькая медсестра Танечка, принимая пост, удивлённо посмотрела на пустой крючок, где обычно висела форменная одежда Анны Никоновны.

— А где Анна Никоновна? — спросила она. — У неё же сегодня дежурство в первой смене?

— Заболела, — коротко ответила Нина Петровна, застёгивая пальто. — Позвонила ночью, сказала, что плохо себя чувствует. Я передала главврачу.

Танечка кивнула, не задавая больше вопросов. К обеду она, как и все в больнице, узнает о скоропостижной смерти доктора Ставицкой. Будет искренне плакать, вспоминая, какой Анна Никоновна была внимательной, отзывчивой. Никогда не свяжет её отсутствие этим утром с ночными событиями за дверями с латунными табличками.

Нина Петровна вышла через служебный ход. Мартовское утро встретило промозглым ветром и мокрым снегом. Она подняла воротник пальто, достала из сумки потрёпанные кожаные перчатки и неторопливо пошла к автобусной остановке. Ещё одна ночная смена закончилась. Завтра начнётся новая.

Через час после её ухода в палату номер два вошла бригада в форме электромонтёров. Проверили каждый сантиметр помещения специальными приборами, замазали разводы от протечки на потолке свежей краской, обновили уплотнители на оконной раме. Затем один из них достал небольшой баллончик и распылил содержимое в воздух — нейтрализатор запахов.

К восьми утра палата была готова к приёму следующего пациента. На тумбочке стояла свежая бутылка коньяка и два чистых хрустальных бокала. В шкафу лежали выглаженные простыни. В проигрыватель вложена пластинка — запись Марио дель Монако.

Ничто не напоминало о том, что несколько часов назад здесь оборвалась человеческая жизнь.

Глава 2. Семья

Мартовское солнце едва пробивалось сквозь тяжёлые шторы цвета состаренной бронзы в квартиру на Чистых прудах. Свет ложился косыми полосами на паркет, уложенный «ёлочкой», за семьдесят лет местами потёртый до белёсого оттенка. Пахло вчерашним ужином, утренним кофе и полиролью для мебели — неистребимый запах старых квартир, где десятилетиями жила одна семья. К нему примешивался едва уловимый аромат духов «Красная Москва».

Елена сидела перед зеркалом в своей комнате, торопливо нанося тушь на ресницы. Старенькое зеркало в деревянной раме с потемневшей позолотой отражало бледное лицо с тёмными кругами под глазами — бессонная ночь над конспектами. Синяя тушь ленинградской фабрики «Лента» была из последнего тюбика, который мама достала через знакомую заведующую отделом парфюмерии. Тушь заканчивалась, и Елена наносила её экономно, по чуть-чуть.

Уже три дня её не оставляло непонятное беспокойство. Мама снова не ночевала дома, сославшись на дежурство, но что-то в её голосе, когда звонила предупредить, показалось странным. Напряжённость, усталость, неестественность. Впрочем, ночные смены случались часто — врач высшей категории в ведомственной больнице не принадлежала себе.

В коридоре послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась без стука — на пороге стоял Олег, высокий, широкоплечий, в синем спортивном костюме с эмблемой «Динамо». Растрёпанные тёмные волосы, пронзительный взгляд, который никогда не задерживался на собеседнике, — в свои двадцать он всё ещё выглядел вечно недовольным подростком.

— Лена, ты не видела мои кроссовки? С белой полосой, — спросил он, потирая заспанные глаза.

Елена вздохнула, не отрываясь от зеркала.

— В прихожей, под вешалкой. Ты их вчера там оставил.

— Блин, опаздываю, — пробормотал Олег. — Тренер убьёт. Второй раз на этой неделе.

Он скрылся так же быстро, как и появился. В коридоре остался запах зубной пасты и одеколона «Шипр», слишком резкого для раннего утра.

Елена вернулась к зеркалу. Высокие скулы, выразительные глаза, грациозная линия шеи — все говорили, что она невероятно похожа на мать. «Точная копия», — часто повторял дед, глядя на них с гордостью и тревогой, которую Елена не могла до конца понять. Сходство с матерью и радовало, и тяготило. Анна Никоновна была красива — строгой красотой, которая с возрастом не исчезает. Люди постоянно ожидали от дочери того же совершенства, той же безупречности.

Закончив, Елена завинтила тюбик и спрятала в шкатулку с немногочисленной косметикой — помада цвета тёмной вишни, кремовые тени, маленький флакон духов «Быть может» в бархатном мешочке — подарок матери на восемнадцатилетие. Духами Елена пользовалась по особым случаям, а день предстоял обычный — третий курс Историко-архивного института, палеография, полустёртые буквы на пергаментах времён Ивана Калиты.

Взглянула на настенные часы — старинные, с мерно покачивающимся маятником. Времени хватало. Мысленно прикинула маршрут: если повезёт с метро и не будет давки на «Кировской», доберётся быстро. Встала из-за туалетного столика, подошла к книжному шкафу, где аккуратными стопками лежали учебники и конспекты. Взяла тетрадь в коричневой обложке с наклейкой «Палеография», учебник Черепнина и папку с ксерокопиями древних рукописей. Сложила в старую кожаную сумку, доставшуюся от матери.

На кухне звякнула посуда. Никон Трофимович уже встал и готовил завтрак — овсяную кашу с изюмом, чёрный чай и два кусочка белого хлеба с маслом, посыпанные сахаром. Рацион он соблюдал с армейской дисциплиной пятьдесят лет — с тех пор, как вернулся с фронта и начал работать в аппарате ЦК. На пенсии привычки остались: газета «Правда», прочитываемая

от первой до последней страницы, радио «Маяк» по утрам, абсолютная тишина в квартире во время программы «Время».

Елена наскоро оделась — серая юбка чуть ниже колен, белая блузка с кружевным воротничком. Строго и аккуратно, как и полагалось студентке идеологически важного вуза. Поверх накинула тёмно-синий свитер с высоким горлом — в аудиториях было прохладно даже в марте. Расчесала длинные тёмные волосы, собрала в простой пучок. Однокурсницы иногда подшучивали над её старомодной причёской, но Елена не обращала внимания. Мода приходит и уходит, а образование остаётся — так говорила мама.

Выйдя из комнаты, столкнулась с Олегом, который пронёсся по коридору с кроссовками в руках, бормоча что-то нецензурное. Дед называл внука представителем «потерянного поколения» — не заставшего войну и уже слишком пресыщенного, чтобы ценить достижения социализма. Олег был спортсменом, подающим надежды в лёгкой атлетике, он тренировался пять раз в неделю и мог получить путёвку на международные соревнования, если бы не вспыльчивый характер и проблемы с дисциплиной.

— Олежек, не забудь бутерброды — я оставила в холодильнике, — окликнула Елена.

— Некогда! — бросил он через плечо. — Куплю пирожок в буфете.

Он прыгал на одной ноге, пытаясь натянуть кроссовку, и чуть не потерял равновесие.

— Подожди, куртку забыл, — Елена сняла с вешалки потрёпанную джинсовую куртку и протянула брату.

Олег остановился, взглянул на сестру — впервые за утро осмысленно.

— Спасибо, — он взял куртку и неожиданно добавил: — Не дозвонился вчера маме в больницу. Сказали, она не в своём отделении. Ты не знаешь, где она?

Беспокойство, не отпускавшее Елену третий день, стало острее.

— Наверное, консультировала в другом корпусе. Ты же знаешь маму — её вечно дёргают со всех сторон. Обещала быть дома к обеду.

Олег кивнул, не выглядя убеждённым, но времени на разговоры не было. Он натянул вторую кроссовку, схватил сумку с тренировочной формой и выскочил за дверь:

— Передай деду, что я на соревнованиях до вечера!

Хлопнула входная дверь, и в квартире стало тихо. Елена прошла в гостиную, где у окна, в глубоком кресле с высокой спинкой сидел Никон Трофимович — сухощавый, с военной выправкой, которую сохранил вопреки возрасту. Крупные узловатые руки с выступающими венами держали газету «Правда» с привычной основательностью. Седые волосы коротко подстрижены, лицо в глубоких морщинах, особенно вокруг глаз. Одет, как всегда, безупречно: отглаженные брюки со стрелками, рубашка с галстуком. На груди — планка с орденскими колодками, которые он не снимал даже дома.

— Доброе утро, дедушка, — внучка подошла и коснулась губами морщинистой щеки.

— Доброе, Леночка, — отозвался он, не отрываясь от газеты. — Завтракать будешь? Кашу сварил, на всех хватит.

— Спасибо, я только чаю. Лекции длинные, перехвачу что-нибудь в институтском буфете.

Дед поднял глаза и внимательно оглядел внучку.

— Бледная ты сегодня. Недосыпаешь?

— Готовилась к семинару, — Елена отвернулась. Не хотелось признаваться, что проплакала полночи, сама не понимая причины. — От мамы нет новостей?

Старик поджал губы и вернулся к газете.

— Нет. Но она — женщина ответственная. Дежурство — значит, дежурство. Не в первый раз.

Что-то в его интонации выдавало: дед знает больше, чем говорит. Между ним и дочерью давно существовала невысказанная напряжённость. Никон Трофимович уважал профессиона-

лизм Анны, гордился её достижениями, но иногда, когда думал, что никто не видит, провожал её долгим взором, полным вины и разочарования. Внучка никогда не спрашивала, в чём дело. В их семье многое оставалось недосказанным.

Гостиная была самой большой комнатой в квартире — метров двадцать пять. Тяжёлая мебель пятидесятых — диван с обивкой цвета морской волны, сервант со стеклянными дверцами, за которыми поблескивали хрустальные рюмки и фарфоровые статуэтки балерин, торшер с абажуром из плиссированного шёлка. На стенах — ковёр и семейные фотографии в рамках: дед в военной форме с орденами, бабушка, умершая до рождения Елены, молодые родители с маленьким Олегом на руках, школьная фотография девушки — пионерка с белыми бантами и серьёзным взглядом. И та, что Елена особенно любила: мама в белом халате, с фонендоскопом на шее, на фоне больничного корпуса. Красивая, уверенная, полная достоинства.

Елена подошла к фотографии и провела пальцем по стеклу. Где ты, мама? Почему не позвонила утром, как обычно?

Никон Трофимович шелестел страницами, периодически хмыкая или качая головой — новости явно не радовали старого партийца. За окном медленно светлело. День обещал быть пасмурным и промозглым — конец марта в Москве. На бульваре появились первые прохожие: женщины с авоськами спешили в гастроном, мужчины в одинаковых пальто и шляпах направлялись к метро, дети с ранцами брели в школу.

— Мне кажется, что-то случилось с мамой, — сказала внучка, не оборачиваясь. — Предчувствие.

Дед замер, не перевернув страницу. Медленно сложил газету и положил на подлокотник.

— Не выдумывай, Леночка. Ты же знаешь, какая у неё работа. К обеду будет дома.

Но Елена уловила ту же неуверенность, которую чувствовала сама. Старик встал из кресла, подошёл, положил тяжёлую руку на плечо.

— Иди поешь хоть немного. Нельзя на голодный желудок учиться.

Внучка согласилась и пошла на кухню. За обеденным столом, накрытым клеёнкой в бело-голубую клетку, стояла недопитая чашка чая — Сергей уже ушёл на работу. Он преподавал марксизм-ленинизм в одном из столичных вузов и всегда выходил рано, чтобы подготовиться к лекциям. Присутствие ощущалось в квартире и без него: недочитанная книга на диване, очки в футляре на журнальном столике, запах одеколона в ванной. Сергей Витальевич появился в их жизни семь лет назад, сперва — как преподаватель на партийных курсах, где мать проходила повышение квалификации, потом — как друг семьи, а затем — как муж и отчим.

Елена налила чаю из большого эмалированного чайника, стоявшего на плите. Крепкий, почти чёрный — такой, какой любил Сергей. Добавила две ложки сахара, отломила кусочек батона. Есть не хотелось, тревога не отпускала. Механически жевала хлеб, не чувствуя вкуса, и думала о матери.

Последний их разговор был вчера днём. Мама позвонила из больницы, сказала, что задержится на ночную смену. Голос усталый, отстранённый. «Не жди меня, Леночка. Ложись спать. Завтра приеду к обеду». И ещё что-то неуловимое — не в словах, а в интонации, — будто прощалась.

«Ерунда, — одёрнула себя Елена. — Просто усталость. Тяжёлая работа».

На столе лежала записка, написанная аккуратным почерком Сергея: «Буду поздно. Заседание кафедры. Ужин в холодильнике, только разогреть. Целую, С.В.»

Даже в домашних записках отчим сохранял официально-деловой стиль и подписывался инициалами. Иногда Елене казалось, что мать вышла замуж за человека, полностью противоположного ей по темпераменту, — сдержанного, педантичного, погружённого в догмы, которые преподавал студентам. Впрочем, за семь лет совместной жизни Сергей проявил себя как

заботливый муж и неплохой отчим — не слишком эмоциональный, но надёжный и предсказуемый.

Допив чай, Елена завернула в вощёную бумагу бутерброд с колбасой — обед в институтской столовой не всегда съедобен, а день длинный. В прихожей надела тёмно-синее пальто, повязала шерстяной шарф, взяла кожаные перчатки — подарок матери на прошлый день рождения. Остановилась перед зеркалом, проверяя причёску. Из зеркала смотрела серьёзная молодая женщина с тёмными глазами, слишком взрослыми для девятнадцати лет, и тонкими морщинками между бровями — следами постоянного беспокойства.

— Я ухожу, дедушка! — крикнула Елена в сторону гостиной. — Вернусь после шести.

— Хорошо, Леночка. Учись хорошо.

В этой фразе, которую дед произносил каждое утро, слышалось военное напутствие — приказ, который следовало выполнить безукоризненно. Елена взяла сумку, проверила, всё ли на месте, и вышла из квартиры.

Весенний воздух был промозглым, но свежим после натопленных комнат. Елена спустилась по лестнице, кивнула дворничихе, подметавшей двор, и пошла к остановке троллейбуса. В институте ждала первая пара — палеография.

После ухода внучки Никон Трофимович остался один в пустой квартире, а через полчаса у входной двери раздался звонок — резкий, пронзительный. Никон Трофимович вздрогнул. Звонок повторился — настойчивый, длинный, не терпящий промедления. Старик неспешно поднялся, расправил плечи. Лицо приобрело выражение сдержанного достоинства, с которым он когда-то вёл партийные собрания.

Подошёл к двери и открыл. На пороге стояли двое в строгих тёмных костюмах и плащах. По выражению их лиц бывший фронтовик сразу понял: произошло непоправимое.

Они напоминали военных посыльных — та же собранность, та же заученная бесстрастность, тот же тяжёлый взор, говоривший больше любых слов. В годы войны такие приносили похоронки. Сейчас они стояли на пороге его квартиры, и без единого произнесённого слова старик понял: дочь мертва. Он выпрямился ещё сильнее, сжал челюсти так, что заныли виски, и безмолвно отступил вглубь прихожей, пропуская их.

— Никон Трофимович Промыслов? — спросил тот, что был ближе к двери, — невысокий, с залысинами и аккуратно подстриженными усами. Голос звучал удивительно мягко для человека с таким жёстким выражением лица.

— Так точно, — ответил Никон Трофимович по-военному, хотя не служил уже тридцать лет. Привычка, вросшая за годы в аппарате, где каждое слово имело значение.

— Майор Беляев, — представился усатый, показав красную книжечку так быстро, что хозяин квартиры успел заметить только профиль Дзержинского на гербовой печати. — А это мой коллега, товарищ Климов.

Второй — высокий, широкоплечий, с тяжёлым неподвижным лицом — коротко наклонил голову, не протягивая руки. Светло-серые равнодушные глаза быстро обежали прихожую, отмечая расположение дверей, расстановку мебели. Цепкость профессионала, привыкшего оценивать обстановку за секунды.

— Позволите пройти? — спросил Беляев. Это был не вопрос, а формальность.

Старик провёл их в гостиную. Газета «Правда» лежала на подлокотнике, недочитанная. Этот номер — с обычными заголовками о перевыполнении плана и братской помощи развивающимся странам — навсегда останется в памяти Никона Трофимовича как символ последнего мирного утра.

— Присаживайтесь, — сказал он, указав на диван.

Беляев сел, аккуратно расправив полы плаща. Климов остался стоять, прислонившись к книжному шкафу и скрестив руки на груди. Хозяин квартиры опустился в кресло, положив узловатые руки на колени. Повисла пауза.

— Никон Трофимович, — наконец заговорил Беляев, и в его словах прозвучало почти человеческое участие, — у нас печальное известие. Ваша дочь, Анна Никоновна Ставицкая, скончалась сегодня ночью во время дежурства в больнице. Смерть наступила около полуночи. Причина — острая сердечная недостаточность.

Старик не шелохнулся. Ни один мускул не дрогнул на лице.

— При каких обстоятельствах? — спросил он после паузы, и вопрос прозвучал так же ровно, как речь Беляева.

— По нашим данным, Анна Никоновна проводила ночной обход в закрытом отделении. Почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Реанимационная бригада пыталась спасти, но безуспешно. — Беляев говорил размеренно, без запинки, выученным текстом. — Патологоанатомическое исследование подтвердило диагноз: разрыв миокарда на фоне хронической ишемической болезни сердца.

— У моей дочери не было ишемической болезни сердца, — сказал Никон Трофимович.

Беляев слегка наклонил голову, изображая сочувствие:

— К сожалению, многие заболевания протекают скрыто, особенно у медиков, которые привыкли не обращать внимания на собственное здоровье.

Старик перевёл взор на Климова, всё это время изучавшего комнату. Их глаза встретились, и старый партиец понял, зачем они здесь на самом деле. Не сообщить о смерти. Другое.

— Где она сейчас? — спросил он, обращаясь снова к Беляеву.

— Тело перевезено в морг при центральной клинической больнице, — ответил тот. — Учитывая заслуги Анны Никоновны и ваш статус персонального пенсионера союзного значения, государство берёт на себя организацию похорон.

Старик кивнул головой. Он знал, что это означает: место на Кунцевском кладбище, оркестр, венки от Министерства здравоохранения, некролог в ведомственной газете. Почётное погребение.

— Я хотел бы увидеть дочь, — сказал он.

Беляев поджал губы, на секунду отвернулся, прежде чем снова обратиться к старику:

— Конечно, ваше право. Морг открыт с девяти до шестнадцати, — он достал из внутреннего кармана записную книжку, вырвал листок, что-то быстро написал. — Пропуск и адрес. Покажете охране. Во время похорон тоже будет возможность попрощаться. Организуем всё по высшему разряду.

Отец Анны принял листок. Он слишком хорошо знал систему, чтобы спорить. Но глубже всего — глубже партии, присяги, десятилетий службы — поднималась невыносимая боль. Дочь. Анечка.

— Могу я спросить, кто вас направил? — спокойно поинтересовался он.

Беляев слегка поёжился — явно не ожидал такого прямого вопроса:

— Мы из специальной службы Министерства здравоохранения. Занимаемся деликатными случаями, когда речь идёт о сотрудниках закрытых учреждений, — он помолчал. — Учитывая характер работы вашей дочери и её доступ к информации особой важности, необходимо провести стандартные процедуры.

Никон Трофимович понял: они здесь не из-за дочери. Они здесь из-за того, что она знала.

— Нам нужно будет осмотреть личные вещи, — продолжил Беляев уже деловым тоном. — Чисто формально. Возможно, остались документы, которые следует вернуть в учреждение.

— Конечно, — сказал старик. — Спальня в конце прохода налево. Общая с мужем.

Старик поднялся, собираясь проводить, но Беляев жестом остановил его:

— Не беспокойтесь, мы справимся. Вам лучше отдохнуть, это тяжёлый удар.

Климов, до сих пор не проронивший ни слова, отделился от книжного шкафа и двинулся к выходу из гостиной. Перед тем как свернуть за угол, бросил на хозяина квартиры короткий

оценивающий взгляд — изучал лицо, осанку, положение рук. Выработанный рефлекс: оценить, насколько опасен человек, если его спровоцировать.

Беляев поколебался, но последовал за коллегой. У дверей обернулся к Никону Трофимовичу и негромко произнёс:

— Мы ненадолго. Примите наши искренние соболезнования.

Старик не ответил. Он скользнул глазами по стене — там висела фотография дочери в белом халате. Серьёзная, сосредоточенная. Лицо врача, которая знала больше, чем говорила.

Спальня была небольшой: двуспальная кровать, по бокам две тумбочки, вдоль одной стены — платяной шкаф с зеркалом, напротив — письменный стол со стопкой медицинских журналов. Тяжёлые шторы задёрнуты. Ничего лишнего — даже личные мелочи убраны в ящики.

Климов первым подошёл к столу и медленно выдвинул верхний ящик. Беляев встал у порога, поддерживая траурный тон:

— Ваша дочь была исключительным врачом, её очень ценили в министерстве. Таких специалистов мало.

Никон Трофимович коротко подтвердил. Понимал: ищут не просто бумаги, а всё, что могло пролить свет на последние дни Анны.

Климов перебрал документы в столе, не пропуская ни одного конверта, ни одной папки. Беляев тем временем продолжал:

— Всегда тяжело, когда человек уходит в расцвете сил. Вы ведь с дочерью были близки?

Вопрос прозвучал мимоходом, но за ним стоял настоящий интерес: не делилась ли она чем-нибудь с отцом? Никон Трофимович ответил ровно, не отводя глаз от гостей:

— В нашей семье не принято обсуждать служебные дела. Анна не говорила о работе ни мне, ни мужу.

Беляев, удовлетворённый ответом, склонил голову:

— Понимаю. Иногда врачи ведут личные записи, черновики статей… Её репутация была безупречна.

Тем временем Климов подошёл к платяному шкафу. Ощупывал полку за полкой, проверял швы халатов и домашней одежды.

Беляев, уловив направление его внимания, заговорил:

— Могла ли Анна жаловаться на сердце? Были какие-нибудь жалобы?

— Нет, — отрезал Никон Трофимович. — Последняя диспансеризация была полгода назад. Всё в норме.

В памяти всплыли слова дочери, сказанные пару месяцев назад: «Папа, если что со мной случится, позаботься о детях…» Теперь они звучали как прощание.

Климов отступил от шкафа, опустился на колени у кровати, заглянул под неё, постучал по полу, проверяя пустоты. Поднялся и подошёл к одной из тумбочек. Там лежал потрёпанный томик Ахматовой — издание шестидесятых с заложенной страницей. Климов нахмурился, быстро достал из кармана блокнот и что-то записал.

Беляев подошёл, заглянул через плечо коллеги, брови приподнялись. Взял книгу, изучил страницу и бережно вернул на место.

— Поэзия? — спросил он Никона Трофимовича. — Анна любила стихи?

— С детства, — коротко ответил тот. — Особенно Ахматову.

Беляев согласно кивнул, затем повернулся к Климову — тот ответил коротким жестом: найдено.

— Мы закончили, — сказал Беляев официально. — Спасибо за содействие. Представители бюро похорон свяжутся с вами для согласования деталей. Всё будет организовано на высшем уровне.

Они направились к выходу. Отец Анны стоял в дверном проёме и, не отводя глаз, спросил:

— Моя дочь действительно умерла от сердечной недостаточности?

Беляев приостановился. Выдержал взгляд старика и негромко ответил:

— Официальное заключение такое. Протокол вскрытия подписал главный патологоанатом. Сомнений нет.

Это был не ответ, и Никон Трофимович это понял. Но дальше копать — не здесь и не сейчас.

Отступил в сторону, пропуская гостей в прихожую. У входной двери Беляев, застёгивая плащ, произнёс:

— Анна Никоновна была ценным работником. Если вам что-либо понадобится — звоните в любое время.

Протянул карточку без эмблем и званий — только фамилия и номер телефона. Старик принял её без единого слова и коротко склонил голову.

Когда дверь захлопнулась, он ещё вслушивался в удаляющиеся шаги. Затем медленно вернулся в гостиную, тяжело опустился в кресло и уставился на портрет дочери. Сидел без движения — старый солдат, знающий, что иногда нужно просто переждать, чтобы собраться с силами.

Наконец он встал и подошёл к телефону. Позвонил в Историко-архивный институт, попросил найти Елену Добровольскую, студентку третьего курса, и передать:

— Срочно приезжай домой. Мама умерла.

Потом позвонил в спорткомплекс «Динамо», передал те же слова Олегу Добровольскому. Последним набрал Сергея Витальевича на работе:

— Приезжай домой. Анна умерла.

Повесив трубку, старик вернулся в кресло и снова обратился лицом к портрету. Его внимание скользнуло к книжной полке под фотографией. Там, между томами классиков марксизма-ленинизма, стоял потрёпанный сборник Ахматовой. Он знал: на странице 67 подчёркнуты строки, которые дочь так и не объяснила никому:

«А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его…»

Старик вздохнул. Дочь хранила тайну, в которую не посвятила даже отца. И теперь его долг — защитить внуков.

Он достал из внутреннего кармана пиджака потёртую записную книжку, перелистал до буквы «Т» и нашёл номер, который ни разу не набирал, — номер бывшего сослуживца, который мог знать больше остальных. Палец застыл над диском телефона. Позвонить — значит снова войти в мир, от которого Никон Трофимович старался оградить внуков; не позвонить — упустить шанс узнать правду.

За окном загудела машина. Скоро должны вернуться остальные. Старик закрыл записную книжку и спрятал обратно.

— Не сейчас, — прошептал он. — Сначала нужно позаботиться о живых. А потом… разберусь с тем, что случилось с мёртвыми.

В Историко-архивном институте было тихо — там царила та рабочая тишина, которая бывает только в старых учебных заведениях. Елена склонилась над пергаментом, разбирая полустёртые буквы четырнадцатого века. Всё остальное отступило — только древний документ, чернильные линии, тусклый свет настольной лампы.

— Смотри, вот здесь явно виден характерный завиток, — шепнула соседка по парте, Таня Липницкая, ткнув карандашом в нижний угол пергамента. — Это почерк новгородской школы.

Елена кивнула, не отрываясь от лупы. В углу листа виднелось небольшое пятно, похожее на каплю воды. Откуда оно? Монах пролил питьё? Или купец, державший расписку, оставил след мокрых пальцев?

В дверь аудитории постучали. Преподаватель с седой бородкой поморщился, но отложил мел и направился к двери. В щель просунулась голова секретаря деканата Марии Степановны. Она что-то прошептала, преподаватель согласно кивнул головой и медленно повернулся к аудитории, остановив взгляд на третьем ряду.

— Добровольская, вас срочно вызывают в деканат.

Елена заметила, как он избегает встречаться с ней глазами. И добавил непривычно мягко:

— Возьмите все вещи с собой.

Студентка поднялась, чувствуя на себе десятки чужих взглядов. Пальцы не слушались, конспекты выскальзывали из рук. И по интонации преподавателя, и по заплаканному лицу Марии Степановны было ясно: случилось что-то страшное.

В деканате секретарша сразу провела Елену в кабинет декана. Тот стоял у окна, заложив руки за спину.

— Елена Сергеевна, присядьте, — он указал на стул. — Недавно звонил ваш дедушка, Никон Трофимович. Он просил передать... — декан запнулся. — Ваша мама скончалась этой ночью. Сердечный приступ во время ночной смены.

Елена смотрела на декана, но видела не его, а чёрный телефон на столе. Хотела что-то сказать, но горло перехватило.

— Я... мне нужно позвонить, — наконец выдавила она.

Декан без слов пододвинул к ней телефон. Елена набрала домашний номер, слушая длинные гудки. Трубку снял дед.

— Дедушка, это правда? — только и смогла спросить она.

— Да, Леночка. Анна умерла. Сердце. Ночью, на работе. Приезжай домой.

Трубка выскользнула из пальцев. Елена поднялась, покачнувшись. Декан что-то говорил о такси за счёт профкома, но слова доносились глухо, будто из соседней комнаты. Елена двинулась к выходу, едва переставляя ноги.

На крыльце института её накрыли слёзы — резко, неудержимо. Всё вокруг расплылось. Споткнулась на ступеньках, чуть не упала, но чьи-то руки подхватили. Старший преподаватель истории партии, шедший навстречу, что-то спрашивал — Елена не слышала. Вырвалась и побежала по улице, расталкивая прохожих.

«Мама, мамочка… Не может быть! Только не это…» — стучало в голове в такт шагам. Елена бежала к метро, сжимая в руке сумку. Из сумки выпал учебник Черепнина, но она даже не обернулась. Конспекты разлетались по тротуару, подхваченные мартовским ветром.

Елена бежала по улице 25 Октября, не чувствуя холода, хотя пальто нараспашку. Выскочив на площадь Дзержинского, на секунду замерла перед тёмным силуэтом памятника, затем забежала в вестибюль станции «Дзержинская». Контролёрша в будке дёрнулась было, но, заметив мокрое от слёз лицо, отвернулась. Елена бежала вниз по эскалатору, расталкивая стоящих справа пассажиров, спотыкаясь на движущихся ступенях. Пожилой мужчина в шляпе что-то крикнул ей вслед — она не слышала…

В спортивном зале «Динамо» пахло резиновыми матами и потом. Олег завершал пятую серию приседаний со штангой. Мышцы ныли, пот заливал глаза, но парень был доволен — сегодня взял новый вес. Тренер, коренастый мужчина в синем спортивном костюме, следил за ним, скрестив руки на груди.

— Теперь жим лёжа, три по десять, — скомандовал он, когда Олег поставил штангу на стойку. — И не халтурь с касанием грудной клетки.

Парень кивнул и направился к скамье для жима, на ходу вытирая лицо полотенцем. В этот момент в зал вошёл администратор — лысеющий мужчина в очках, всегда выглядевший так, будто ему неуютно среди штанг и гантелей.

— Добровольский! — окликнул он. — К телефону тебя вызывали. Срочно нужно домой.

Тренер нахмурился:

— Какое ещё «домой»? Мы посреди тренировки.

Администратор подошёл ближе, понизив голос:

— Его дед звонил. Сказал... — он замялся, — сказал, что мать Олега умерла. Просил передать, чтобы ехал сразу домой.

Олег замер с полотенцем в руках. Звуки зала — удары мячей, крики, скрип тренажёров — разом стихли для него. Стоял неподвижно, только пальцы всё сильнее сжимали ткань.

— Что? — переспросил он, хотя прекрасно расслышал каждое слово.

— Сердце, — добавил администратор вполголоса. — Ночью. На дежурстве.

Парень дёрнул подбородком, бросил полотенце на скамью и направился к сумке у стены. Двигался механически — стянул перчатки, сунул в боковой карман, перекинул сумку через плечо.

— Эй, Добровольский, — растерянно окликнул тренер, — может... может, ошибка какая-то?

Олег повернулся к нему. Что-то в его лице — тёмном, неподвижном — заставило тренера осечься на полуслове. Товарищи по команде, заметив неладное, прекратили тренировку и наблюдали в безмолвии.

— Господи... — тренер провёл рукой по коротко стриженным волосам. — Соболезную, парень. Конечно, иди.

Олег кивнул, накинул куртку прямо на влажную футболку и направился к выходу. В зале стало непривычно тихо. Один из товарищей по команде дёрнулся было следом, но тренер остановил его:

— Не надо. Пусть будет один. Некоторые вещи нужно переживать самому.

В аудитории номер 17 главного корпуса педагогического института звучал размеренный голос Сергея Витальевича Ставицкого. Он читал лекцию по марксистско-ленинской философии, периодически поправляя очки на переносице — жест, который студенты давно научились распознавать как предвестник особенно важной мысли.

— Таким образом, товарищи, диалектический материализм учит нас, что объективная реальность существует независимо от нашего сознания, — Ставицкий провёл мелом по доске, рисуя схему. — Материя первична, а сознание...

В дверь постучали. В аудиторию вошла секретарь деканата, немолодая женщина в строгом сером костюме. Она подошла к кафедре и что-то прошептала преподавателю на ухо. Лицо Сергея Витальевича изменилось — на нём отразилось сначала недоумение, затем ужас, быстро сменившийся странной отрешённостью.

— Простите, товарищи студенты, — сказал он, и его обычно уверенный голос дрогнул. — Лекцию придётся прервать. Семинар завтра проведёт доцент Никольский.

Аудитория загудела — такого не случалось никогда. Ставицкий славился пунктуальностью и обязательностью. Ни разу не отменил занятия за пятнадцать лет преподавательской работы — даже когда болел гриппом с температурой под сорок.

Сергей Витальевич начал собирать бумаги с кафедры, но руки дрожали. Листы падали на пол, он наклонялся за ними, поднимал, ронял снова. Очки съехали с носа и повисли на шнурке. Он не поправил их.

Студенты наблюдали с растущим недоумением. Преподаватель всегда был образцом самоконтроля, примером советского интеллигента. Теперь же казался растерянным и беспомощным.

— Идите, Сергей Витальевич, — произнесла секретарь вполголоса, помогая собрать оставшиеся бумаги. — Машина ждёт у входа.

Он дёрнул подбородком, взял портфель и вышел из аудитории, не попрощавшись — ещё один беспрецедентный случай. Уже в коридоре услышал, как секретарь объявляет:

— У Сергея Витальевича серьёзное семейное горе. Лекции отменяются до конца недели.

Ставицкий шёл по коридору, и стены, знакомые до последней трещинки, казались чужими. Пятнадцать лет преподавал здесь, знал каждый угол, каждую скрипящую половицу. Всё переменилось за те секунды, что секретарь шептала страшное: «Ваша жена умерла. Звонил её отец. Сердечная недостаточность. Машина уже ждёт».

Анна. Его Анна. Она была такой живой вчера утром — пила кофе на кухне, поправляла волосы перед зеркалом, целовала его в щёку перед уходом. Может, ошибка? Может, тесть что-то неправильно понял?

Но Сергей знал: ошибки нет. Никон Трофимович не ошибается в таких вещах. Если сказал — значит, так и есть. Анна умерла.

Выйдя из института, Ставицкий увидел у входа чёрную «Волгу» с работающим мотором. Водитель, немолодой мужчина в кепке, встретил его сочувственно и неловко, как встречают скорбящих: желание помочь и страх сказать не то.

— На Чистые пруды? — спросил водитель, открывая дверь.

Ставицкий без слов сел в машину.

Вопреки законам драматургии, они прибыли домой не одновременно. Первой появилась Елена — растрёпанная, с красными от слёз глазами, потерявшая по дороге шарф и одну перчатку. Она ворвалась в квартиру, не закрыв за собой дверь, бросилась к деду и разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. Никон Трофимович гладил внучку по голове, не произнося ни слова.

Следом пришёл Олег — бледный, с посиневшими губами. Коротко взглянул на деда, скинул куртку на пол, прошёл мимо рыдающей сестры, не обернувшись, и закрылся в своей комнате. Оттуда не доносилось ни звука.

Последним появился Сергей — с остановившимся взглядом человека, потерявшего ориентиры. Долго возился с замком, не попадая ключом в скважину, потом никак не мог снять пальто, путаясь в рукавах.

Никон Трофимович помог ему снять пальто и провёл в гостиную, где Елена уже свернулась на диване, обхватив колени руками.

В квартире воцарилось безмолвие — только всхлипывания Елены и тиканье настенных часов, непривычно громкое. Дед стоял посреди комнаты — прямой, с неподвижным лицом, на котором только глаза выдавали то, что творилось внутри.

— Как это случилось? — наконец спросил Сергей Витальевич. Голос звучал хрипло, как чужой.

Никон Трофимович коротко, почти по-военному, изложил факты: ночная смена, внезапный сердечный приступ, безуспешные попытки реанимации. Ни слова о своих подозрениях, ни намёка на утренних посетителей. Елена слушала, уткнувшись лицом в диванную подушку, плечи вздрагивали от беззвучных рыданий.

Дверь комнаты Олега распахнулась. Он вышел с комком одежды в руках, не глядя ни на кого, прошёл через гостиную и закрылся в ванной. Зашумела вода. Дед и Сергей переглянулись, Елена подняла голову от подушки. Несколько минут в квартире стояла только эта ровная водяная стена звука — душ за закрытой дверью. Потом вода стихла. И почти сразу раздался глухой удар, потом ещё один, сильнее. Никон Трофимович вздрогнул, но не сдвинулся с места. Сергей направился было к ванной.

— Оставь его, — негромко сказал дед. — Ему нужно выпустить это.

Из ванной раздался звон разбитого стекла, потом ещё один удар — такой, что задребезжала посуда в серванте. Елена вздрогнула и закрыла уши руками, но не произнесла ни слова.

Её горе было обращённым внутрь, беззвучным. Горе Олега требовало выхода — физического, разрушительного.

Сергей подошёл к книжному шкафу, взял с полки фотографию Анны — ту, где она стояла возле больницы в белом халате. Пальцы дрожали, когда он водил ими по стеклу рамки.

— Она вчера говорила что-нибудь? — спросил отчим, не оборачиваясь. — Жаловалась на сердце? На усталость?

— Нет, — ответил дед. — Но я её почти не видел последние дни. Приходила поздно, уходила рано.

— Мама всегда так жила, — прошептала Елена сквозь слёзы. — Вечно торопилась куда-то. Всю жизнь.

В её словах прозвучала горечь — не обвинение, но констатация. Анна Никоновна была прекрасным врачом и не лучшей матерью — вечно занятая, вечно спешащая куда-то. Любящая, но недоступная.

Сергей поставил фотографию обратно, но не рассчитал движение — рамка покачнулась и упала. Стекло треснуло, прочертив диагональ через лицо Анны. Её муж стоял над треснувшей фотографией, не в силах пошевелиться.

Из ванной раздался последний удар, за которым последовал звук осыпающейся плитки и сдавленное ругательство. Потом дверь открылась, и Олег вышел — в домашних брюках и футболке, бледный, с мокрыми волосами и окровавленной рукой. Молодой человек прошёл на кухню, ни на кого не глядя. Из ванной тянуло холодом — видимо, разбил окно.

Никон Трофимович наконец сдвинулся с места. Подошёл к телефону на маленьком столике в углу гостиной и начал набирать номер.

— Это Промыслов, — сказал он в трубку. — По поводу смерти моей дочери... Да, Анна умерла. Сердце… Нет, ничего не нужно. Приходите проводить. Я сообщу дату похорон.

Он обзвонил ещё пару-тройку старых друзей. Тон был спокойным, деловитым — привычка человека, умевшего держать себя в руках при любых обстоятельствах. Но когда дед повернулся к остальным, по его щеке текла слеза — одна-единственная на морщинистом лице.

Квартира наполнилась звуками горя: приглушённые всхлипывания Елены, хлопанье кухонных шкафчиков — Олег искал бинт для разбитой руки, шаги Сергея, бесцельно бродившего из комнаты в комнату, и шуршание бумаг — Никон Трофимович перебирал документы и семейные фото, подыскивая изображение Анны для траурного фото. Каждый справлялся как мог. Каждый оплакивал своё — не только Анну, но и то, что держалось на ней: привычный порядок, уверенность, иллюзию безопасности.

Глава 3. Гостья на похоронах

Кунцевское кладбище встретило родных Анны Никоновны серой мартовской хлябью. Снег, вода и грязь смешались под ногами, чавкая при каждом шаге. Елена стояла, ощущая, как промозглая сырость проникает сквозь тонкие подошвы единственных траурных туфель. Серое небо висело низко, готовое в любой момент пролиться холодным дождём. Где-то каркнула ворона — резко, неуместно. Она вздрогнула. Гроб с телом матери, венки с траурными лентами, сосредоточенные лица кладбищенских работников, ждущих своего часа, — всё казалось нереальным сном, и проснуться было невозможно.

Сергей Витальевич крепко сжимал ладонь Елены — боялся, что без опоры не устоит ни она, ни он сам. Физическая боль от его хватки была едва заметна на фоне внутренней. Елена держалась прямо, выражение лица неподвижно — ни единого проявления боли. Безупречное самообладание — единственное наследство, полученное от матери при её жизни. Умение сохранять достоинство в любых обстоятельствах, не показывать боль, не выставлять чувства напоказ.

Никон Трофимович стоял прямо — военная выправка не подводила и сейчас. Только подбородок предательски дрожал, когда он смотрел на гроб. Открытый гроб — тёмное полированное дерево с латунными ручками. Бледные черты Анечки, аккуратно уложенные волосы, синее платье — каждая деталь до боли знакома и каждая — уже безвозвратно утеряна.

С другой стороны от Елены — Олег, бледный, с сухими покрасневшими глазами, глядящий куда-то поверх голов. За два дня с момента страшного известия не пролил ни слезинки. Только разбитое зеркало в ванной и забинтованные пальцы под тёмными перчатками говорили о крайнем душевном напряжении. Он держался отстранённо, не подпуская к себе никого со словами соболезнования, избегая чужих прикосновений.

Вокруг свежевырытой могилы собрались коллеги Анны Никоновны — врачи в строгих пальто, с неизбывной печалью на лицах. Переговаривались вполголоса, бросая сочувственные взгляды на семью. Пришли и соседи с Чистых прудов, несколько человек из института Сергея Витальевича, пара давних сослуживцев деда, несколько бывших однокурсниц.

Между могильными плитами петляли сырые дорожки. Старые берёзы, ещё голые, опустили к земле чёрные ветви. На верхушках деревьев сидели вороны…

Елена улавливала обрывки разговоров:

— Говорят, сердце…

— В сорок — совсем молодая…

— Работала на износ…

Она не вслушивалась — вся боль была сосредоточена на открытом гробе, в котором лежала мать.

Четверо кладбищенских работников в поношенных куртках держались в стороне. Гроб покоился на деревянных козлах рядом с разверстой ямой, на дне которой уже поблёскивала мартовская вода. Венки с искусственными цветами образовали пёстрый полукруг. На одном табличка: «От благодарных пациентов», на другом: «От коллектива больницы». Она всматривалась в надписи сквозь слёзы, но взор возвращался к лицу матери в гробу.

Сергей Витальевич тронул её локоть:

— Сейчас начнётся… Держись, Леночка.

В толпе Елена вдруг узнала Алину Попову. Не сразу — школьные годы остались далеко, и девочка с косичками превратилась в молодую женщину в строгом тёмном пальто и косынке, выглядевшую старше своих лет. Алина тоже её узнала, замерла на секунду, потом кивнула — коротко, сдержанно. Не подошла — не место и не время для удивлённых расспросов. Рядом с Алиной — мать, Кристина Попова, в дорогом пальто с меховым воротником и маленькой

шляпке с вуалью. Елена помнила её смутно, по школьным собраниям и редким встречам. Но откуда Кристина знала маму настолько, чтобы прийти на похороны?

Оркестр из трёх музыкантов в потёртых шинелях заиграл траурный марш. Тромбон фальшивил, труба звучала надтреснуто, но все смолкли. Сотрудник райкома выступил вперёд, поправил галстук и начал речь о заслугах Анны Никоновны перед советским здравоохранением. Никон Трофимович застыл, Сергей Витальевич уткнулся взором в землю, а Олег смотрел мимо говорящего, не слыша.

Потом слово взял главврач больницы 4-го управления Минздрава — грузный, с бледными чертами, старательно вкрадчивый. В словах чувствовалась натяжка. Елена заметила, как он избегает смотреть на гроб, как нервно теребит край шарфа.

Настало время прощаться. Первым подошёл дед, склонился над гробом и медленно, с усилием, прикоснулся сухими губами ко лбу дочери. Губы задержались на холодной коже дольше положенного. Сергей Витальевич подошёл с дрожащими плечами, наклонился и поцеловал жену в лоб — слеза упала на восковое лицо. Затем Елена приблизилась нетвёрдым шагом, склонилась и прижалась губами к ледяному лбу матери, ощутив запах косметики, скрывающей следы вскрытия.

Олег попрощался последним. Долго смотрел на мать, но так и не смог поцеловать — лишь коснулся пальцами края гроба и отступил, стиснув челюсти.

Когда прощание завершилось, к семье подошла Кристина Попова. Дорогие французские духи чувствовались за несколько шагов.

— Примите мои соболезнования, — сказала она деду. — Я знала Анну Никоновну, замечательная женщина. Мы вместе учились.

Никон Трофимович посмотрел холодно:

— Спасибо, — и отвернулся.

Кристина не отступила:

— Я проходила у неё обследование — она была не просто специалистом, а настоящим человеком...

Зелёные глаза скользили по собравшимся, задерживаясь на каждом.

Тогда Елена заметила стоящую в отдалении, у берёзы, незнакомку: высокая женщина в строгом чёрном пальто, с золотистыми волосами и янтарными глазами. Не приближалась, не смешивалась с толпой. От неё словно тянуло озоном. Хотелось подойти, спросить, но тут кладбищенские работники дали знак.

— Приступайте, — сказал старший, и скрип верёвок разнёсся в тишине.

Гроб начали опускать. На дне ямы блеснула тёмная вода. Когда дерево коснулось дна, Елена отвела взор. Оглянулась на берёзу — незнакомки уже не было.

Никон Трофимович стоял у края ямы — каменные черты лица, сжатые ладони. Сергей Витальевич закрыл глаза рукой. Олег не двигался.

Первая горсть земли, брошенная дедом, глухо ударилась о крышку. Вторая — от Сергея Витальевича. Третья — от коллег. Олег отказался, отступив. Елена сжала в кулаке холодную землю, прошептала:

— Прощай, мама, — и разжала пальцы. Тёмные крупицы осыпались на дерево гроба.

Когда церемония закончилась, скорбящие начали расходиться. Никон Трофимович принимал соболезнования, Сергей Витальевич разговаривал с коллегами, Олег стоял в стороне, один. Кристина с Алиной уже ушли. Незнакомки тоже не было.

— Леночка, поедем домой, — Сергей Витальевич взял её за руку. — Поминки уже готовы.

Она кивнула, но мысли не давали покоя: почему мама ушла так внезапно, откуда здесь школьная подруга и её мать, что связывало Кристину с мамой, и кто была та незнакомка у берёзы?

Шли к выходу: дед — тяжело, размеренно ступая, Сергей — держа дочь за руку, Олег — отстав от них на несколько шагов. У ворот ждали две чёрные «Волги» и человек в сером плаще, двумя днями ранее принёсший в эту семью весть о смерти. Вежливо открыл дверцу:

— Садитесь, пожалуйста, отвезём домой.

Елена в последний раз обернулась: могила с деревянным крестом, венки, голые берёзы, вороны. Глубоко вдохнула — в воздухе ещё держался слабый аромат озона.

Квартира на Чистых прудах наполнилась тяжёлым духом поминок. С утра привезли деликатесы из кремлёвского распределителя — копчёного угря, красную икру, фаршированную щуку — вместе с соболезнованиями от главврача. Кутью с изюмом и мёдом, по настоянию деда, приготовила соседка Антонина Петровна из третьего подъезда — вдова полковника, знавшая толк в обрядах. К ароматам еды примешивались запахи влажных пальто, сваленных в прихожей, мокрой обуви и многолюдного дыхания в комнатах, где ещё три дня назад жила Анна Никоновна.

У кухонного стола Елена нарезала чёрный хлеб аккуратными ломтями и думала: как странно, что жизнь после смерти начинается с еды — с тарелок, наполненных поминальными закусками, с рюмок, которые будут наполняться и опустошаться, с запаха пищи, когда есть совершенно не хочется.

Никон Трофимович закрепил последний уголок чёрной ткани над овальным зеркалом в прихожей. Пальцы, привыкшие к газетам и протоколам партийных собраний, двигались с неожиданной неуверенностью.

— Вот так, — сказал он, отступая на шаг, и поморщился, недовольный собой. — Соседки настояли. Говорят, примета такая... Хотя, конечно, всё это предрассудки.

Одёрнул лацканы пиджака, проверяя, всё ли в порядке, — знакомые движения успокаивали среди чуждых обрядов. Сергей Витальевич, напротив, выглядел потерянным — двигался между комнатами с отсутствующим видом, поправляя очки, которые сползали с переносицы, и бормоча о необходимости «соблюдать традиции».

В гостиной на столе, покрытом белой скатертью, уже были расставлены тарелки и стопки. В центре — блюдо с кутьёй. Рядом — нарезанная кружками варёная колбаса, селёдка под шубой, салат оливье, картошка, солёные огурцы — весь набор поминального стола, которым потчевали живых в память об умерших.

Из прихожей донеслись голоса. Елена вытерла ладони о полотенце и выглянула. Трое гостей снимали верхнюю одежду — две женщины в тёмных платках и мужчина с залысинами, в очках с толстыми стёклами. Приехали вместе со всеми с кладбища, но задержались у подъезда, докуривая сигареты. Коллеги матери из больницы. Елена знала их по рассказам, но никогда не видела лично.

— А вот и Леночка, — сказала старшая из женщин. Седые волосы собраны в тугой пучок, лицо — покрасневшее от мартовского ветра. — Я Вера Николаевна, заведующая отделением. Работала с твоей мамой двадцать лет... — голос дрогнул, но она справилась. — Анна Никоновна была исключительным врачом и человеком.

Елена кивнула, не находя слов. Подобное она слышала уже десятки раз за этот день — фразы, которые ничего не меняли и никого не возвращали.

Квартира была переполнена — соседи по дому, коллеги Сергея Витальевича из института, врачи из больницы, старые друзья семьи, партийные товарищи Никона Трофимовича, которых он не видел годами. Люди заполнили комнаты, принеся с собой запахи улицы и могильной земли, шёпот соболезнований и общее, почти физически ощутимое напряжение, которое всегда сопровождает уход человека, умершего слишком рано.

Елена металась между кухней и гостиной — разносила тарелки, доливала в графины водку, убирала пустые блюда, принимала верхнюю одежду, показывала, где вымыть руки. Пока

двигалась, пока руки были заняты, пока нужно было встречать, кивать, благодарить — можно было не думать, не чувствовать, не осознавать окончательность случившегося.

— Давай я помогу, — негромкий голос рядом заставил вздрогнуть.

В дверях кухни стояла Алина Попова — высокая, прямая, в тёмном платье, подчёркивавшем бледность лица. Школьная подруга, в последние годы отдалившаяся, занятая учёбой в медицинском, теперь смотрела на Елену с тем особым пониманием, которое бывает только у людей, видевших смерть вблизи.

— Спасибо, — выдохнула Елена, передавая поднос с бутербродами.

Вместе вошли в гостиную. Сергей Витальевич у стола произносил первый поминальный тост. Голос, обычно уверенный на лекциях, звучал надломленно:

— Анна Никоновна была... была не просто прекрасным врачом. Она была центром нашей семьи. Опорой. Она... — запнулся, снял очки и потёр переносицу, — она ушла слишком рано. Давайте помянем. Царствие небесное.

— Царствие небесное, — нестройным хором отозвались присутствующие.

Стопки поднялись, не чокаясь, и опустели разом.

Елена не пила. Прислонившись к стене, наблюдала за людьми в своём доме. Кто из них действительно знал мать? Кто понимал, какой Анна была на самом деле, а не какой казалась коллегам, пациентам, партийному руководству? Даже дочь иногда ощущала, что мама остаётся загадкой — вечно спешащей, вечно занятой, о многом молчавшей.

У книжного шкафа Олег держал стакан минералки. Отстранялся от любых попыток утешить. Полная женщина с добрым лицом попыталась обнять — он отшагнул, и та растерялась. Никон Трофимович, заметив это, тут же отвлёк женщину вопросом о муже, бывшем сослуживце.

— Вторую, помянем, — произнёс кто-то, и снова рюмки наполнились.

Воспользовавшись моментом, Елена ускользнула на кухню. Нужно было достать из духовки пироги с капустой, которые принесла соседка снизу. Алина пришла следом, молча взяла нож и принялась нарезать хлеб.

— Я не знаю, как теперь... — начала Елена и замолчала, не в силах закончить.

— Знаю, — так же приглушённо ответила Алина, не глядя на подругу. — Просто делай, что должна. День за днём. Сегодня — режь хлеб. Завтра — вставай с постели. Послезавтра — иди на занятия. Так легче.

Елена кивнула, благодарная за отсутствие пустых утешений, и принялась выкладывать пирожки на поднос. Девушки работали молча, плечом к плечу, и на несколько минут кухня стала единственным спокойным местом в квартире.

Вернувшись в гостиную с очередным подносом, услышала обрывок разговора двух женщин:

— ...конечно, с сердцем шутки плохи. У нас в отделении в прошлом году тоже врач умер, прямо на дежурстве. Инфаркт не щадит никого.

— Да, но Анна-то была молодая ещё, здоровая. Никогда не жаловалась. Я была у неё на приёме в декабре — и она мне сказала, что недавно проходила диспансеризацию, всё было в порядке...

Разговор резко оборвался, когда говорившие заметили Елену. Неловко улыбнувшись, обе принялись с преувеличенным вниманием накладывать закуски на свои тарелки.

— Не слушай, — шепнула Алина, забирая у неё одно из блюд. — Сейчас все будут говорить о смерти. Это их способ справиться со страхом.

В комнате стало душно. Кто-то открыл форточку, впустив струю холодного мартовского воздуха. Мужчины курили, хотя Сергей Витальевич не терпел табачного дыма в доме. Но сегодня не возражал — слишком ошеломлённый, чтобы замечать.

Никон Трофимович у письменного стола говорил с двумя пожилыми мужчинами — у обоих была такая же, как у деда, выправка, такие же проницательные глаза. Заметив взгляд внучки, чуть кивнул — держись, мол. Елена выпрямила спину, расправила плечи. Дед всегда учил: «Добровольские не сгибаются. Что бы ни случилось».

Кристина Попова отделилась от группы гостей и направилась к Елене. В отличие от дочери, одетой скромно и строго, Кристина даже на похороны явилась в элегантном тёмно-сером костюме, с ниткой жемчуга на шее. Идеальная причёска не растрепалась после кладбищенского ветра, безупречный макияж подчёркивал зелень глаз.

— Леночка, — она произнесла имя с особой интонацией, в которой сочувствие смешивалось с чем-то ещё — любопытством, интересом? — Я так хочу выразить, как глубоко я сопереживаю вашей утрате.

Протянула руку в тонкой кожаной перчатке, которую, видимо, только что надела. Елена машинально пожала, ощутив холод даже сквозь материал.

— Спасибо, — ответила она и отступила.

Кристина работала переводчицей во внешнеторговом объединении, часто ездила в зарубежные командировки и всегда возвращалась с чемоданами, полными диковинных вещей — французской косметики, итальянской одежды, западногерманской бытовой техники. Алина никогда не говорила об этом прямо, но Елена догадывалась: Кристина принадлежала к особому классу советских людей, имевших выезд за границу, доступ к спецраспределителям и привилегии, недоступные обычным гражданам.

Гости начали расходиться ближе к вечеру. Первыми ушли старики — им было тяжело долго сидеть. За ними — коллеги матери, потом соседи. Через пару часов в квартире остались только близкие — семья, Алина с матерью да две пожилые медсестры из отделения, помогавшие убирать со стола.

Усталость навалилась сразу, стоило потоку гостей иссякнуть. Елена собирала тарелки, стаканы, вилки, несла на кухню, где раковина уже была заполнена грязной посудой. Возвращалась за следующей партией. Снова кухня. Снова гостиная. Механическое движение — единственное, что ещё получалось.

— Леночка, я хочу помочь с посудой, — Кристина возникла рядом, пригладив причёску отработанным движением.

— Не надо, я сама, — отказалась Елена, хотя руки уже дрожали от усталости.

— Сиди, девочка, я справлюсь, — мягко, но настойчиво возразила Кристина. — Помню, как после похорон моей матери сама чуть не падала. Иди, посиди с дедом. Ему сейчас тяжело.

В её словах была логика. Никон Трофимович сидел в кресле у окна, уставившись на улицу невидящим взором. Медсёстры уже ушли. Олег закрылся в своей комнате. Сергей Витальевич разговаривал с Алиной на диване — о предстоящей сессии, о возможности академического отпуска для Елены.

— Хорошо, спасибо. Мыло под раковиной, полотенца в верхнем шкафчике.

Кристина улыбнулась краешком губ и скользнула на кухню, сбросив пиджак и оставшись в шёлковой блузке цвета слоновой кости. Елена подошла к деду, села рядом, взяла за руку. Рука была сухая, тёплая, с выступающими венами, со шрамом на большом пальце — след старого ранения.

— Устала? — спросил он, не оборачиваясь.

— Да, — просто ответила она.

— Иди, приляг. Завтра будет тяжёлый день. Нужно разобрать её вещи... — замолчал, потом добавил тише: — Свидетельство о смерти я уже получил. Все бумаги оформлены.

Елена покачала головой:

— Не могу спать. Каждый раз, когда закрываю глаза, вижу... — не закончила.

С кухни доносилось звяканье посуды. Кристина что-то напевала себе под нос — едва слышно, почти неуловимо. Но Елена узнала мелодию французской песенки, которую иногда крутили по радио. Странно — напевать на поминках…

Через полчаса подошла Алина:

— Мне пора. Завтра на дежурство. Если что-то понадобится — звони в любое время. Я серьёзно, Лен. В любое.

Обнялись — быстро, но крепко. Сергей Витальевич поблагодарил Алину за помощь, пожал руку. Никон Трофимович только кивнул — он выглядел измождённым, постаревшим за этот день.

Елена сидела за кухонным столом, бессмысленно перелистывая старый журнал «Работница», найденный на подоконнике. Сергей Витальевич помог Никону Трофимовичу добраться до комнаты — старая фронтовая рана разболелась, как всегда в тяжёлые дни. Потом отчим тоже ушёл к себе, сославшись на головную боль.

Кристина продолжала мыть посуду — методично, ловко справляясь даже с пригоревшими кастрюлями. Тарелка за тарелкой, вилка за вилкой, стакан за стаканом — всё становилось чистым под её руками. Закончив, принялась протирать посуду полотенцем и расставлять по шкафам. Елена заметила, что Кристина осматривает кухню с особым вниманием — оценивает обстановку, запоминает расположение вещей. Зелёные глаза ощупывали старый буфет, выцветшие обои в мелкий цветочек, кухонную утварь.

— У вас очень уютно, — сказала Кристина, перехватив её взгляд. — Настоящий старый дом с историей. Не то что наши новостройки с тонкими стенами.

— Не такой он уж и старый, — отозвалась Елена, убирая прядь волос за ухо. — Дом сталинской постройки, тридцать седьмого года. Дед получил квартиру после войны. За особые заслуги.

— Аня гордилась вашей квартирой. Рассказывала, какие здесь высокие потолки, какой паркет... — Кристина осеклась, будто сказала лишнее.

Наблюдая за уверенными движениями Кристины, Елена вспомнила, как в шестом классе Алина впервые привела её к себе домой. Тогда эти же руки нарезали им, девчонкам-сладкоежкам, торт, привезённый из Праги. Кристина поймала её взгляд и улыбнулась уголком губ.

— Странно, правда? — негромко сказала Елена. — Столько лет прошло с тех пор, как мы с Алиной подружились, а теперь...

Кристина на секунду замерла, потом продолжила вытирать большое блюдо.

— Твоя мама всегда была замечательным врачом. Настоящим профессионалом, — сказала с теплотой в голосе.

Закончив с посудой, Кристина прошла в гостиную забрать сумочку. Елена последовала за ней. В гостиной было темно — все разошлись по своим комнатам после ухода гостей. Только уличный фонарь за окном бросал желтоватые отсветы на стены, мебель, фотографии в рамках.

Кристина включила свет и остановилась перед одной из них — Анна в молодости, в белом платье, с распущенными волосами, смеющаяся в объектив. Фотографию сделал отец Елены незадолго до своей гибели — Елена почти не помнила его, но мать рассказывала, что он был талантливым фотографом.

По лицу Кристины скользнуло странное выражение — узнавание, удивление и что-то ещё, чему не нашлось названия. Чувство вины? Но за что Кристине Поповой чувствовать вину перед их семьёй?

— Какая она была красивая, — приглушённо сказала Кристина, не отрывая глаз от фотографии. — И молодая. Слишком молодая, чтобы умереть.

Резко повернулась к Елене:

— Прости, дорогая. Я заболталась. Тебе нужно отдохнуть. Если что-то понадобится — звони, не стесняйся.

Быстро собралась, накинула пиджак и пригладила волосы в прихожей у зеркала, всё ещё затянутого траурной тканью.

— Береги себя, Леночка. И... береги Сергея. Ему сейчас тяжело.

Когда за Кристиной закрылась входная дверь, Елена медленно прошла через опустевшую квартиру, не включая света. В воздухе ещё держался дух поминок — еда, духи, табак. Остановилась перед той же фотографией, которую разглядывала Кристина. Мама смеялась — беззаботно, радостно — дочь никогда не видела её такой при жизни. Что произошло с той смеющейся девушкой? Куда исчезла её радость? И почему она умерла так внезапно, так нелепо, оставив после себя столько вопросов без ответов?

Елена прислонилась лбом к холодному стеклу рамки и закрыла глаза: «Мама, мама, где ты сейчас?..»

Ночь опустилась на квартиру — безмолвная, тяжёлая, четвёртая без Анны Никоновны. Тишина заполнила комнаты, нарушаемая скрипом паркета под ногами Сергея Витальевича, который не мог найти себе места. Чёрная ткань на зеркалах превратила знакомые отражения в тёмные провалы. Присутствие Анны всё ещё ощущалось в квартире — духи на подушке, медикаменты в шкафчике ванной.

Все разбрелись по комнатам, каждый наедине с собственным горем. Никон Трофимович закрылся у себя — из-за стены не доносилось ни звука. Олег тоже исчез в своей комнате, включив магнитофон на минимальную громкость — приглушённый голос Высоцкого едва просачивался сквозь щель под порогом. Елена ушла в ванную — шум воды раздавался долго.

Сергей бродил по коридору, заглядывал в кухню, возвращался в гостиную, присаживался на краешек дивана, вставал, снова ходил по коридору. В голове смешались события последних дней — живая, энергичная Анна, уходящая на дежурство, — и её восковое лицо в гробу. Как это могло произойти? Как женщина сорока лет, полная сил, вдруг перестала существовать?

Он остановился на кухне. Открывал и закрывал шкафчики, пока не нашёл початую бутылку «Столичной» с синей этикеткой, оставшуюся с поминок. Пальцы дрожали, когда наполнял гранёный стакан. Преподаватель, всегда презиравший пьяниц, всегда гордившийся своей выдержкой, залпом выпил водку, даже не поморщившись, и сразу налил второй стакан.

Часы с кукушкой тикали на стене — пензенские, с резным домиком, Анна купила десять лет назад в комиссионке. Вечером, перед сном, она обычно приходила сюда выпить стакан кефира. Стояла вот здесь, у холодильника, босая, в домашнем халате, с распущенными волосами — домашняя, земная, его…

— Аня, — прошептал Сергей, сжимая стекло в ладони. — Аня, как же так?

Безукоризненно выглаженная утром рубашка сбилась и помялась, галстук ослаблен, но не снят — преподаватель марксизма-ленинизма не мог позволить себе окончательно потерять контроль. Очки, запотевшие от горячего дыхания, снял и положил на стол. Без них мир расплывался, и в этой нечёткости было что-то успокаивающее — реальность стала менее определённой, менее окончательной.

Третью порцию Сергей выпил не залпом, а медленно, маленькими глотками. Тепло разливалось по телу. Кровь стучала в висках. Вопросы теперь всплывали один за другим — те, которые он не смел себе задавать с тех пор, как посреди лекции в аудиторию вошла секретарь деканата с известием о смерти его жены.

Почему её не спасли? Она же работала в лучшей больнице страны, в отделении для элиты. Почему не было признаков болезни? Он бы заметил — замечал каждую мелочь в ней, каждое изменение настроения, каждую новую морщинку. Почему не настоял, чтобы прошла полное обследование, когда жаловалась на усталость? Почему не заставил взять отпуск, не увёз на море, не уберёг?

И главное — почему в последнее время она так странно себя вела? Отстранялась, уходила в себя, иногда смотрела на него с грустью, будто прощалась. Это не было предчувствие — нет, что-то другое.

Водка закончилась. Сергей уставился на пустую бутылку, потом тяжело поднялся и нетвёрдой походкой направился в спальню.

Их общая с Анной комната встретила тишиной. На двуспальной кровати, аккуратно застеленной, лежали две подушки — его, жёсткая, и её, помягче. Одеяло расправлено без единой складки. Это Елена — весь день молча приводила квартиру в порядок.

Сергей опустился на край кровати, на её сторону. Провёл ладонью по одеялу, по подушке. Глаза оставались сухими, но боль была такой, что хотелось кричать.

Напротив кровати — шкаф, большой, полированный, со скрипучей левой дверцей. Анна всегда говорила, что нужно позвать мастера и смазать петли, но так и не собралась. Сергей встал, подошёл и отворил створку. Скрип показался оглушительным в ночной тишине.

Вещи Анны висели на плечиках — аккуратные ряды платьев, костюмов, блузок. Тёмно-синий костюм, в котором она ходила на партсобрания. Белые халаты для работы. Нарядное платье цвета бордо, которое она надевала на новогодний вечер. Шерстяной свитер, связанный её матерью. И в самом углу — шёлковая ночная рубашка цвета слоновой кости с кружевной отделкой.

Сергей коснулся прохладного шёлка дрожащими пальцами. Рубашку он подарил ей на пятую годовщину свадьбы — привёз из Ленинграда, где был на конференции. Достал по блату через коллегу, у которого была сестра в торговле. Анна надевала её нечасто — берегла для особых случаев, для годовщин, для редких вечеров вдвоём.

Он снял рубашку с плечиков, прижал к лицу и вдохнул. На него пахнуло незнакомыми французскими духами — тяжёлый, сладковатый аромат, которого он никогда прежде не чувствовал. Не «Красная Москва», к которой он привык за все годы совместной жизни. Что-то дорогое, чужое. Откуда?

Мысль мелькнула и пропала — горе вытеснило всё остальное.

Слёзы пришли сразу — горячие, неудержимые, вместе с хриплыми, судорожными рыданиями. Прижимал к лицу шёлковую ткань, вдыхал запах жены и плакал, как не плакал с детства.

— Аня, Анечка… — бормотал он, задыхаясь. — Как я буду без тебя? Как?

Колени подогнулись, и он сполз на пол, привалившись спиной к шкафу. Перед глазами всплыл вечер у Кравцовых, когда Миша подвёл к нему хрупкую темноволосую женщину в синем платье: «Познакомься, Серёжа, это Аня». Она протянула узкую ладонь, улыбнулась уголками губ. Потом — первая прогулка по набережной, её шарф, развевающийся на ветру… Её отец, сверливший его взглядом из-за стола, кольцо в коробочке, спрятанное в кармане пиджака… Маленькая свадьба и первое утро в этой квартире — аромат кофе и её волос на подушке… И дальше — их счастливая, в общем-то, жизнь: редкие выходные в Серебряном Бору, ссоры из-за дежурств, примирения, её профиль в синем свете телевизора.

Сколько он не успел ей сказать! Сколько не успел спросить!.. Почему не придавал значения её усталости в последние месяцы? Почему не заметил, как изменилась она после последнего повышения? Почему позволял так много работать? И главное — почему она никогда не говорила с ним о работе, будто оберегала от чего-то, скрытого в этом режимном отделении?

Рыдания стихли, но боль стала только острее. Сергей сидел на полу перед раскрытым шкафом, прижимая к груди рубашку жены, — разбитый, опустошённый. Водка, выпитая на пустой желудок, туманила сознание, но боль пробивалась и сквозь туман.

С трудом поднялся, цепляясь за створку шкафа. Ноги дрожали, голова кружилась. В ванную — умыться, не показываться в таком виде домашним. Что скажут дети, увидев его? Что

скажет Никон Трофимович? Нужно держаться. Для детей Анны, которые теперь только на него и могут рассчитывать.

Сжимая рубашку, побрёл к ванной. Коридор плыл перед глазами, пол казался неровным. Опёрся о стену, пытаясь справиться с головокружением.

Из-за двери ванной — ни звука. Должно быть, все уже спят. В нетрезвом сознании мысли путались, уши заложило от выпитого. Нужно умыться. Не задумываясь, повернул ручку и толкнул.

Пар вырвался в коридор. Сквозь полупрозрачную занавеску виднелся женский силуэт с тёмными длинными волосами, прилипшими к спине. Тонкая рука с длинными пальцами потянулась к краю ванны за мылом. Изгиб шеи, линия плеч, тонкая талия — всё знакомое, родное.

— Аня… — прошептал Сергей, и дыхание перехватило. Шагнул вперёд, не чувствуя ног. Силуэт за занавеской вздрогнул и повернулся. Шторка отдёрнулась, пар окутал обоих. Не осознавая, что делает, протянул руки, притянул обнажённое мокрое тело к себе, впившись губами в розовый сосок, чувствуя, как тот твердеет под языком. Тёплая, живая. Вернулась!

Секунда — и резкий толчок в грудь, звонкая пощёчина обожгла щеку.

— Дядя Серёжа! — Елена отпрянула к чугунному краю ванны, судорожно схватив полотенце и пытаясь прикрыться. Глаза, так похожие на глаза Анны, расширились от ужаса. — Вы с ума сошли?!

Сергей моргнул. Перед ним — не жена, а падчерица: мокрые пряди, прилипшие к плечам, дрожащие губы, красное пятно на коже, где только что были его губы.

— Господи, — прошептал отшатнувшись. — Лена... Я... Я не понимал...

Елена схватила с крючка халат, натянула поверх полотенца и бросилась мимо него в коридор. Щёлкнул замок в её комнате.

Сергей привалился к косяку. Горящая щека и ледяной ужас осознания. Что он наделал?! Посмотрел на свои ладони — они ещё помнили тепло её кожи.

Ночная рубашка Анны лежала на полу. Поднял трясущимися пальцами, прижал к лицу и беззвучно заплакал.

Глава 4. Любой ценой

Дождь за окном кабинета Андропова монотонно стучал по стеклу. Мокрые струйки сползали вниз, искажая огни вечерней Москвы, превращая их в размытые пятна. Председатель КГБ сидел неподвижно, лишь изредка отпивая крепкий чай из высокого стакана в подстаканнике, серебро которого тускло поблескивало в свете настольной лампы. Взгляд, внимательный и холодный, скользил по строчкам медицинского заключения, фиксируя каждую деталь с профессиональной методичностью.

Обстановка кабинета на пятом этаже здания на площади Дзержинского не отличалась роскошью — Андропов всегда предпочитал строгость и функциональность. Тяжёлые шторы из тёмно-зелёного бархата, письменный стол из тёмного дерева с резными ножками — наследие ещё от прежнего хозяина, два массивных сейфа у стены, невзрачный книжный шкаф с собранием сочинений классиков марксизма-ленинизма в одинаковых переплётах. На стене — портрет Ленина. Под ним — бюст Дзержинского, чей чеканный профиль был обращён к двери, словно встречал каждого входящего. Единственным признаком личности хозяина оставалась шахматная доска с незавершённой партией на отдельном столике у двери — Андропов играл сам с собой, когда требовалось упорядочить мысли.

Юрий Владимирович поморщился — утренний диализ оставил неприятную тяжесть в теле. Больные почки напоминали о себе даже здесь, в центре его власти. До прихода Чазова оставалось четверть часа. Андропов не любил, когда кто-то опаздывал, но ещё больше не терпел, когда приходили раньше времени. Точность — вежливость не только королей, но и тех, кто служит государственной безопасности.

Он опустил взгляд на бумаги. Брежнев Леонид Ильич, шестьдесят восемь лет, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Диагноз: атеросклероз сосудов головного мозга, ишемическая болезнь сердца, эмфизема лёгких, начальная стадия цирроза печени. Прогноз: неблагоприятный. Рекомендации: покой, сбалансированное питание, ограничение стрессовых ситуаций, строго дозированный приём снотворных и успокоительных препаратов под контролем лечащего врача.

Андропов усмехнулся — последняя рекомендация звучала почти как насмешка. Леонид Ильич давно уже сам себе назначал и лекарства, и дозировки, прислушиваясь не к медицинским советам, а к нашёптываниям окружения — Черненко, Тихонов, Щёлоков... Каждый со своим флаконом пилюль, каждый со своей особенной заботой о здоровье генсека, каждый со своим интересом.

Стук в дверь вывел Андропова из задумчивости. Не дожидаясь ответа, вошёл дежурный офицер — молодой, подтянутый, с безупречно прямой спиной.

— Товарищ председатель, академик Чазов прибыл.

Андропов кивнул, отложив бумаги.

— Пусть войдёт.

Офицер исчез так же бесшумно, как и появился, а через несколько секунд дверь открылась вновь. Академик Чазов, начальник 4-го Главного управления Минздрава СССР, вошёл с той особенной сдержанностью, которая отличает людей, привыкших двигаться по больничным коридорам. Тёмно-серый костюм был немного помят, однако белая рубашка, несмотря на позднее время, выглядела свежей, а галстук — безукоризненно завязанным. В руках академик держал чёрный кожаный портфель, с которым ездил на консультации к высокопоставленным пациентам.

— Добрый вечер, Юрий Владимирович, — произнёс Чазов, останавливаясь перед столом.

Андропов указал на стул напротив:

— Присаживайтесь, Евгений Иванович. Чаю?

Чазов кивнул, опускаясь на стул. Несмотря на внешнюю невозмутимость, академик нервничал — Андропов видел это по мелким признакам: чуть участившееся дыхание, слишком прямая спина, лёгкое подрагивание пальцев. Многолетняя практика допросов и аналитической работы давно научила его замечать подобное.

— Обычно вы вызываете меня в клинику, — заметил Чазов, принимая стакан чая в таком же серебряном подстаканнике. — Что-то срочное?

Андропов не стал отвечать сразу. Отпил из своего стакана, изучая собеседника поверх очков. Тишина тянулась, наполняя помещение напряжением, которое Юрий Владимирович умел создавать одним своим присутствием.

— Я хочу поговорить о здоровье Леонида Ильича, — наконец сказал он. — Без посторонних ушей.

Чазов поставил подстаканник на стол, не сделав ни глотка.

— Как его лечащий врач, я связан...

— Врачебной тайной, да, — перебил Андропов. — Но вы также государственный деятель и руководитель системы здравоохранения для партийной элиты. И вы прекрасно понимаете, что здоровье генерального секретаря — вопрос государственной безопасности.

Чазов вздохнул. Морщины на его лице стали заметнее.

— Что именно вас интересует, Юрий Владимирович?

Андропов откинулся на спинку кресла, не меняя направления цепкого, немигающего взгляда.

— Полная клиническая картина. Без смягчений и без преувеличений. Какие препараты принимает Леонид Ильич? Кто из окружения имеет доступ к этим препаратам? Насколько глубоки нарушения функций нервной системы?

Чазов достал из кармана маленькую серебряную коробочку, открыл — внутри лежали две белые таблетки. Взял одну, быстро положил под язык. Нитроглицерин — Андропов узнал характерный жест сердечника. Ирония ситуации не ускользнула от него: кардиолог с сердечной недостаточностью лечит генсека от того же недуга.

— Леонид Ильич принимает целый комплекс препаратов, — начал Чазов, когда таблетка растворилась. — Нитроглицерин — при болях в сердце, нитронг пролонгированного действия — для профилактики приступов, дигоксин — для усиления сердечных сокращений, мочегонные, поскольку есть отёки, успокоительные на основе бромидов, снотворные — сейчас в основном тазепам и нитразепам.

— А фенобарбитал? — прервал Андропов.

Чазов осёкся, затем осторожно качнул головой:

— Да, иногда и его. Хотя я настоятельно не рекомендую — устаревший препарат с серьёзными побочными эффектами, тем более в его возрасте.

— Кто даёт ему фенобарбитал?

Чазов потёр ладони.

— Юрий Владимирович, вы же понимаете моё положение...

— Я понимаю, что если генсек потеряет способность управлять страной из-за неправильно подобранных лекарств, отвечать будем мы все, — голос Андропова оставался ровным, но стал жёстче. — И вы, Евгений Иванович, в первую очередь.

Непогода за окном усилилась. В кабинете стало прохладнее, но Чазов почувствовал, как взмокла спина.

— Фенобарбитал ему даёт Черненко, — наконец признался академик. — Константин Устинович считает, что знает о лекарствах больше всех. У него, видите ли, дядя был аптекарем.

Андропов коротко склонил голову — подтверждение давно известному факту.

— Тихонов?

— Николай Александрович снабжает его какими-то витаминами из Болгарии. Говорит, что это особый состав для партийных работников. На деле — обычный поливитаминный комплекс с повышенным содержанием стимуляторов. Я анализировал: кофеин в больших дозах и вытяжка из женьшеня.

— Щёлоков?

Чазов выдержал паузу.

— Николай Анисимович... С ним сложнее. У него свои каналы в фармацевтической промышленности через МВД. Достаёт экспериментальные средства, ещё не прошедшие полный цикл клинических испытаний. Якобы для повышения работоспособности.

Андропов поднялся из-за стола и подошёл к окну. Высокая худая фигура отразилась в чёрном стекле на фоне огней ночной Москвы.

— А вы, Евгений Иванович? Что даёте ему вы?

— Только то, что действительно необходимо, — Чазов тоже встал, но остался на месте. — Основное лечение для поддержания сердечно-сосудистой системы. Я пытаюсь минимизировать вред от всего остального.

Андропов повернулся — половина лица оставалась в тени, отчего резче проступали борозды на лбу и глубже казались зрачки за стёклами очков.

— Насколько ухудшилось состояние его нервной системы за последние полгода?

Чазов долго не отвечал.

— Значительно, — проговорил он наконец. — Речь стала более замедленной, наблюдается дезориентация во времени, иногда забывает, какой сегодня день, путает имена приближённых. Память на текущие события ослаблена, хотя воспоминания прошлого сохранны. Бывают эпизоды микросна во время заседаний — не засыпание, а выключение сознания на несколько секунд, после чего продолжает говорить, будто ничего не произошло.

— И как долго это может продолжаться?

Академик сглотнул.

— В медицине нет точных прогнозов, Юрий Владимирович. При правильном лечении, строгом режиме и исключении всех этих... дополнительных средств состояние можно стабилизировать на длительный срок.

— Насколько длительный?

— Год, два, возможно, больше.

Андропов вернулся к письменному столу, сел. Взял какую-то папку, открыл, закрыл, отложил — движение было непривычно суетливым для человека, привыкшего держать себя под контролем.

— А при сохранении нынешней ситуации с лекарствами?

Чазов опустился обратно на стул. Вопрос был задан прямо, и уклоняться не имело смысла.

— Если продолжится бесконтрольный приём снотворных и успокоительных в комбинации со стимуляторами... — он запнулся, — прогрессирующее ухудшение когнитивных функций, возможны периоды полной дезориентации, в тяжёлых случаях — психотические эпизоды. При таком состоянии сердечно-сосудистой системы повышается риск инсульта или инфаркта. Конкретные сроки назвать невозможно, но ситуация может стать критической в любой момент.

Андропов принял информацию без видимых эмоций.

— Что вы предлагаете?

Чазов достал из портфеля тонкую папку и положил перед ним.

— Здесь план лечения, который я составил ещё три месяца назад. Предлагал его Черненко и Устинову, но... — он развёл руками. — У них свои представления о том, что лучше для Леонида Ильича.

Андропов взял документы, но раскрывать не стал.

— Реализуем ли этот план практически, учитывая сложившуюся ситуацию?

Чазов поколебался.

— Не полностью. Но есть один способ... — он подался вперёд. — Можно постепенно заменять часть того, что ему дают Черненко и другие, на пустышки. Плацебо. Таблетки такого же вида, но без действующего вещества. Леонид Ильич не заметит разницы, а мы сможем постепенно вывести из организма наиболее вредное.

Андропов поднял брови.

— И это сработает?

— На начальном этапе — да, — Чазов говорил теперь увереннее. — В первую очередь, с фенобарбиталом. Психологическая зависимость от него сильнее физической. Если Леонид Ильич будет думать, что принимает свою таблетку, сам факт приёма уже даст ему чувство спокойствия. Потом, когда улучшится сон, можно будет предложить более современные и безопасные средства.

Дождь за окном стих, и в наступившей тишине кабинет будто стал просторнее. Андропов задумчиво постукивал по краю столешницы, устремив неподвижный взор куда-то мимо Чазова.

— Кто будет производить эти... пустышки? — спросил он наконец.

— У нас есть фармацевтическая лаборатория при институте. Там можно изготовить таблетки любой формы и цвета, полностью идентичные оригиналам.

— Без следов в документации?

Чазов понимающе кивнул:

— Конечно. Оформим как экспериментальную партию витаминных добавок.

Андропов перевёл взгляд на портрет Ленина. Затем встал, давая понять, что разговор окончен.

— Хорошо, Евгений Иванович. Действуйте согласно вашему плану. Я обеспечу... соответствующее прикрытие, — он выдержал короткую паузу. — И ещё. Я хочу, чтобы вы лично докладывали мне о состоянии здоровья Леонида Ильича. Еженедельно. Без промежуточных звеньев.

За стеклом по-прежнему моросило, и мелкая водяная пыль, висящая в воздухе, создавала ощущение уединённости — как будто эта комната, этот разговор существовали в отдельном пространстве, отгороженном от Москвы. Андропов задумчиво рассматривал план лечения, который только что передал Чазов. Тема здоровья генсека была исчерпана, но, вместо того чтобы завершить встречу, председатель КГБ вдруг подался вперёд, будто вспомнив о чём-то неотложном.

— Кстати, Евгений Иванович, — голос Андропова звучал почти непринуждённо, но за стёклами очков читалась цепкая, неослабевающая сосредоточенность, — я хотел бы обсудить с вами ещё один вопрос. Не связанный со здоровьем Леонида Ильича.

Чазов, уже мысленно прощавшийся с хозяином кабинета, замер с портфелем в руках. Лицо, только что расслабившееся, вновь напряглось.

— Конечно, Юрий Владимирович. Я к вашим услугам.

Андропов на мгновение умолк, будто решая, с какого края подойти. Потом поднял с края стола тонкое досье, которое Чазов раньше не замечал.

— Скажите, Ставицкая была первой?

Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Чазов непроизвольно вздрогнул. Имя он узнал мгновенно — это было видно по лицу.

— Простите?

— Анна Никоновна Ставицкая, — терпеливо повторил Андропов, раскрывая досье и доставая фотографию молодой женщины в медицинском халате. — Врач-терапевт высшей категории. Сорок лет. Скоропостижно скончалась во время ночного дежурства в режимном

отделении вашего 4-го управления. Официальная причина — острая сердечно-сосудистая недостаточность, разрыв миокарда. Вам знакомо это имя?

Чазов медленно опустился обратно на стул, уже не думая о других пациентах. В комнате повисла тяжёлая тишина, которую нарушал только слабый шум мороси за стеклом.

— Да, конечно, — наконец ответил он. — Доктор Ставицкая была одним из наших ведущих специалистов. Прекрасный врач, большая потеря для отделения.

— И для семьи, полагаю, — сухо заметил Андропов. — Муж, двое детей, отец — член ЦК в отставке, — он закрыл досье. — Меня интересует, были ли другие случаи необъяснимой остановки сердца у здоровых женщин в вашей системе? А именно — среди персонала режимного отделения?

Чазов облизнул губы. Ладони, недавно спокойно лежавшие на коленях, едва заметно подрагивали.

— Юрий Владимирович, я не совсем понимаю направление вашего интереса. Смерть доктора Ставицкой — трагическая случайность. Патологоанатомическое исследование показало...

— Я знаком с результатами вскрытия, — перебил Андропов. — Меня интересуют другие случаи. Были ли они?

Лицо Чазова заметно посерело. Он отвёл глаза к окну, за которым по-прежнему сеялась мелкая водяная пыль.

— Были случаи внезапных смертей среди медперсонала, да. Но это обычное дело в нашей профессии. Врачи работают на износ, постоянные стрессы, ненормированный график. Многие запускают собственное здоровье, занимаясь пациентами.

Андропов откинулся на спинку кресла, не ослабляя давления пристального внимания.

— Сколько?

— Что — сколько?

— Сколько случаев внезапной смерти от сердечной недостаточности среди женщин-врачей вашего управления зафиксировано за последние пять лет?

Чазов на мгновение прикрыл веки. Когда открыл их, выражение лица стало уже более собранным, профессиональным.

— Если считать только режимное отделение... два или три случая, не считая доктора Ставицкой. За пять лет это не выходит за рамки статистической нормы.

Андропов молча принял ответ.

— И все случаи были списаны на переутомление и стресс?

— Да. В условиях нашей работы это наиболее вероятная причина. Вы же знаете, какая нагрузка ложится на врачей в режимном отделении.

— Знаю, — согласился Андропов. — И знаю, что в режимном отделении проводятся не только стандартные медицинские процедуры.

Чазов застыл. Пальцы, лежавшие на картонной обложке документов, замерли, а потом начали мелко постукивать по картону.

— Я не совсем понимаю, на что вы намекаете, Юрий Владимирович.

— А я не намекаю, — спокойно ответил Андропов. — Я спрашиваю прямо. Были ли эти женщины задействованы в так называемых «особых процедурах» для высокопоставленных пациентов?

Лицо Чазова приобрело землистый оттенок. Он открыл рот, закрыл, опять открыл — и не издал ни звука. Потом осторожно поставил портфель на пол, будто от резкого движения в этих стенах что-то могло измениться необратимо.

— Юрий Владимирович, — наконец выговорил Чазов, тщательно подбирая слова, — 4-е управление предоставляет полный спектр медицинских услуг для руководства страны. Включая некоторые… нестандартные программы реабилитации и восстановления работоспособно-

сти. Это дело государственной важности. Врачи, работающие в режимном отделении, дают особую подписку о неразглашении.

— Я знаю о подписке, — сухо ответил Андропов. — И о «нестандартных программах» тоже. Что я хочу знать — были ли погибшие женщины частью этих программ?

Чазов сглотнул. Капля пота скатилась по виску.

— Да. Все три... то есть все четыре, включая Ставицкую, были задействованы в программе… специального обслуживания некоторых товарищей из высшего руководства.

Андропов выждал, разглядывая собеседника, который под этим вниманием заметно сдал.

— Вы не находите странным, Евгений Иванович, что четыре здоровые женщины, все из одного отделения, все задействованные в одной и той же «программе», умерли от остановки сердца в течение пяти лет? Причём без предшествующих симптомов?

Пальцы Чазова вновь забарабанили по обложке. Он прижал ладонь к картону, но через секунду непроизвольное постукивание возобновилось.

— Я... не задумывался об этом в такой плоскости, — признался он. — Но теперь, когда вы сформулировали вопрос именно так... — он запнулся.

— Да? — подтолкнул Андропов.

— Я вспомнил кое-что. У всех четверых было обнаружено примерно одинаковое содержание барбитуратов в крови. Не в смертельной дозе — просто следы. Патологоанатомы предположили, что женщины принимали снотворное из-за сложного графика работы. Обычная практика среди врачей.

Андропов подался вперёд, прищурившись.

— Барбитураты? Какие именно?

— В основном фенобарбитал. Старый препарат, но до сих пор широко используется как снотворное и успокоительное.

— Тот, что даёт Леониду Ильичу Черненко?

Чазов замер, осознавая, что разговор сделал неожиданный круг, вернувшись к тому, с чего начался.

— Д-да. Тот же.

— И что, по-вашему, делает фенобарбитал в организме?

— При правильной дозировке — вызывает сонливость, расслабление мышц, снижает тревожность. При передозировке — может вызвать угнетение дыхательного центра, сердечную недостаточность, — Чазов говорил теперь отрывисто, будто зачитывал из справочника. — Но в крови погибших концентрация была невысокой, недостаточной для смертельного исхода!

— А если сочетать с другими веществами? — голос Андропова стал жёстче. — Например, с алкоголем?

— Опасное сочетание, — признал Чазов. — Эффект взаимно усиливается.

— А с... физической нагрузкой?

Чазов не сразу понял, что стоит за вопросом. А когда понял — побледнел.

— Теоретически... да. Физическая активность на фоне приёма барбитуратов может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При наличии скрытой патологии — тем более.

— Но у этих женщин не было скрытой патологии, верно? — голос Андропова стал ещё твёрже. — Они все проходили регулярные медосмотры, как положено сотрудникам режимного отделения. Все были здоровы.

Чазов не отвечал. Руки теперь лежали неподвижно.

— Кто из высокопоставленных товарищей пользовался... услугами всех четырёх?

— Я... я не могу... — начал Чазов, но осёкся, столкнувшись с немигающим взглядом собеседника. — Нужно поднять документацию. Проверить графики дежурств.

— Проверьте. Я хочу получить эту информацию к завтрашнему утру. Лично от вас, без посредников. И полную медицинскую документацию на всех четверых. Включая заключения патологоанатомов.

Чазов поднялся, ноги заметно дрожали.

— Я всё подготовлю. Но... могу я узнать, в чём суть вашего интереса? Это расследование?

Андропов ответил долгим, тяжёлым молчанием.

— Пока нет. Пока это вопрос профилактики. Я не хочу, чтобы в нашей системе здравоохранения происходили несчастные случаи с персоналом. Прежде всего — с теми, кто имеет доступ к... особой информации.

Чазов понимающе наклонил голову. На лице проступило странное выражение — страх, смешанный с облегчением: приговор вынесен, но ещё не разобрать — оправдательный или обвинительный.

— Могу идти?

— Да. До завтра, Евгений Иванович.

Чазов поспешно собрал вещи и направился к выходу. У двери остановился — хотел что-то сказать, но передумал. Бросив последний взгляд на неподвижную фигуру за столом, тихо вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.

Кабинет опустел. Андропов позволил себе то, чего не мог в присутствии посторонних, — длинный, утомлённый вздох. Ненастье за окном усилилось, крупные тяжёлые капли снова забили по стеклу. Ливень, пришедший на смену мороси, наполнил комнату ровным, густым шумом. Юрий Владимирович выдвинул ящик стола, достал небольшой блокнот в потёртой кожаной обложке и что-то быстро записал. Закрыв блокнот, откинулся на спинку кресла и долго сидел неподвижно, устремив неподвижный взор в темноту за окном.

Затем Андропов медленно снял очки и положил их перед собой. Без них лицо выглядело иначе — более уязвимым. Глубокие тени залегли под глазами, морщины под глазами, обычно скрытые оправой, проступили отчётливее, две борозды от крыльев носа к уголкам рта стали резче. В такие минуты уединения он переставал быть председателем КГБ и превращался просто в усталого человека с больными почками и властью, которая оказалась тяжелее, чем казалась издали.

Боль в пояснице, постоянная спутница после диализа, дала знать о себе. Андропов поморщился и медленно поднялся, разминая затёкшую спину. Подошёл к окну, за которым потоки воды размывали огни Москвы до жёлтых, красных, белых пятен. Где-то там, в этой мокрой темноте, находилась больница 4-го управления, где умирали здоровые женщины. Где врачи высшей категории внезапно получали посмертный диагноз «разрыв миокарда», хотя за неделю до этого проходили диспансеризацию. Где смерть приходила не от болезни, а от чего? От близости к власти? От знания слишком многих секретов?

Андропов коснулся кончиками пальцев холодного стекла, словно желая ощутить вибрацию от ударов капель. В памяти всплыл зимний вечер в Петрозаводске, пятидесятый год. Старик Куусинен, щурясь сквозь дым «Беломора», положил сухую ладонь ему на плечо: «Понимаешь, Юра, в нашем деле главное — не стать частью механизма настолько, чтобы он мог тебя перемолоть. Наблюдай за жерновами, но держись чуть в стороне». Тогда молодой Андропов лишь кивнул с почтением, не вполне понимая, о чём это. Сейчас, двадцать пять лет спустя, он чувствовал себя уже наполовину перемолотым.

«Гетеры» — кодовое название операции, о которой давно не вспоминали в коридорах власти. Двадцать лет прошло. Почти одно поколение.

Он вернулся к рабочему месту, сел, надел очки, которые придали лицу привычное выражение сдержанной строгости. Скоро наступит новый день — день, когда он узнает, кто из высшего руководства посещал всех четырёх погибших женщин.

Рука потянулась к кнопке селекторной связи. Палец нажал кнопку, раздался тихий щелчок.

— Слушаю, товарищ председатель, — незамедлительно отозвался голос ночного дежурного.

— Мне нужно дело из спецхрана за пятьдесят пятый год. Кодовое название — «Гетеры», — сказал Андропов ровным размеренным голосом. — К семи утра. На моём столе.

— Будет исполнено, товарищ председатель. Что-нибудь ещё?

— Нет, — сухо бросил Андропов и отпустил кнопку.

Ливень на улице немного утих. Юрий Владимирович долго сидел неподвижно, различая собственное отражение в тёмной оконной глади. Четыре смерти за пять лет — не случайность. Но кто за ними стоит? И что именно он найдёт в деле двадцатилетней давности?

Ответов пока не было. Но он намеревался их получить.

Кабинет на Старой площади был залит оранжевым светом заходящего солнца, проникавшим сквозь раздвинутые шторы. Георгий Савельевич Ордынцев сидел за тяжёлым столом, покрытым зелёным сукном, перебирая бумаги из красной папки с грифом «Совершенно секретно». Бледные пальцы с удлинёнными фалангами двигались точно и размеренно. Вертикальные зрачки, почти незаметные в ярком свете, сужались и расширялись, пока он вчитывался в сухие строки отчётов. Рядом с папкой, среди бумаг, стояла бронзовая чернильница — старинная, непонятного происхождения, которая была здесь до Ордынцева, и до Ордина, и до того, кем он был ещё раньше.

Стук в дверь был настолько тих, что обычный человек не услышал бы, но Ордынцев мгновенно вскинул голову.

— Войдите.

В кабинет вошла женщина — на вид не больше тридцати, высокая, стройная, с безупречной осанкой. Двигалась она бесшумно, с той особой грацией, которая не даётся тренировкой. Строгий серо-синий костюм подчёркивал прямую осанку, а закрытая под горло блузка делала её похожей на безупречного партийного работника. Только глаза выдавали иное — янтарно-жёлтые, с вертикальными зрачками, сейчас суженными до тонких чёрных линий.

— Добрый вечер, Георгий Савельевич, — произнесла она, закрывая за собой дверь. Голос был мелодичным, но с едва уловимым призвуком, которого не бывает у людей.

Ордынцев не поднялся. Отложил бумаги и указал на стул напротив.

— Ольга Михайловна, присаживайтесь.

Она плавно опустилась на стул, положив на колени маленькую чёрную сумочку. В кабинете стало тихо. На стене, рядом с обязательным портретом Ленина, висело знамя отдела — единственные украшения интерьера, не считая чернильницы.

Ордынцев уставился на посетительницу изучающим взглядом поверх сложенных домиком пальцев. Лицо — красивое, с правильными чертами — было невозмутимым, но в глазах мелькало что-то, что можно было бы назвать любопытством, если бы оно не было столь холодным.

— Вы просили встречи, — наконец произнёс он негромко, с безупречной дикцией, в которой однако угадывался лёгкий неопознаваемый акцент. — По какому вопросу?

Ольга Литарина чуть наклонила голову. Длинные пальцы с заострёнными ногтями легко постукивали по сумочке — единственный признак внутреннего напряжения.

— Четыре смерти за пять лет, Георгий Савельевич, — сказала она без предисловий. — Слишком много, вы не находите?

Ордынцев откинулся на спинку кресла. Тонкие губы тронула улыбка, не затронувшая глаз.

— Я не понимаю, о чём вы.

— Четыре женщины-врача из 4-го управления. Последняя — Ставицкая. Все умерли от сердечной недостаточности, — Ольга выдержала паузу. — Якобы.

— А почему «якобы»? — Ордынцев поднял бровь. — У людей иногда отказывает сердце. Особенно когда они ведут... двойную жизнь.

Ольга подалась вперёд.

— Не играйте со мной, Георгий Савельевич. Все четыре ликвидации проведены по вашему приказу. Одна, максимум две — ещё можно понять. Но четыре? В одном отделении? Это привлекает внимание.

Ордынцев медленно поднялся и подошёл к сейфу, вделанному в стену. Набрал комбинацию, открыл тяжёлую дверцу и достал папку, идентичную той, что лежала на столе, — красную, с грифом секретности.

— Ставицкая и другие начали задавать вопросы, — он положил папку на стол перед Ольгой. — Открывайте.

Ольга раскрыла папку. Внутри лежали отчёты о наблюдениях, расшифровки телефонных разговоров, фотографии, сделанные скрытой камерой.

— Они начали догадываться, — продолжал Ордынцев, возвращаясь в кресло. — Ставицкая была особенно близка к разгадке. Собирала информацию, сопоставляла факты. Заметила странные совпадения в симптомах у высокопоставленных клиентов после... процедур, — он помолчал, наблюдая, как Ольга перелистывает страницы. — Начала подозревать, что за «специальным обслуживанием» стоит не КГБ.

— И что с того? — Ольга подняла глаза от бумаг. — Люди всегда что-то подозревают. Строят теории, но никогда не приходят к правильным выводам. Кто бы поверил, расскажи она, что за всем этим стоим... мы?

— Дело не в вере, — отрезал Ордынцев. — Дело в том, что она начала вести собственное расследование. Фиксировала данные, брала анализы крови клиентов без их ведома, под видом обычных тестов. Она была хорошим врачом, Ольга Михайловна. С доступом к лабораториям и прочными знаниями.

Он постучал длинным пальцем по фотографии Ставицкой, склонившейся над микроскопом.

— Она обнаружила аномалии в крови клиентов после ваших... подопечных. И начала делиться информацией с коллегами. С теми, которые теперь тоже мертвы.

Ольга нахмурилась, вчитываясь в отчёт.

— Я понимаю необходимость устранения Ставицкой, — сказала она медленно. — Возможно, даже остальных врачей. Но зачем было убивать девушек из салона Арины Капитоновны? — её голос стал жёстче. — Особенно Веронику. Она была из моего клана, Георгий Савельевич. Молодой суккуб, едва достигший зрелости по нашим меркам. Я потратила десятилетия, чтобы вырастить её.

Ордынцев поморщился.

— Вероника и две другие девушки из салона занялись коммерцией помимо официальных клиентов, — ответил он сухо. — Принимали частные заказы.

— Что в этом такого? Они питались энергией. Какая разница, от кого она исходит?

— Разница в том, что они брали деньги, — Ордынцев подался вперёд, и на мгновение его человеческая оболочка истончилась, обнажив что-то более древнее. — Деньги оставляют след. Привлекают внимание. Частные клиенты хвастаются перед друзьями. А потом появляются сотрудники ОБХСС, которых интересует, откуда у девочек драгоценности, импортные вещи, валюта.

Он раскрыл другую папку и протянул Ольге фотографию. Вероника — хрупкая блондинка с кукольным лицом — примеряла золотое колье в комиссионном магазине на Кузнецком мосту.

— Снято нашим агентом. Она заплатила за украшение тысячу двести рублей наличными. Продавщица запомнила. Начала шептаться с подругами: странные молодые женщины, одеты не по-нашему, деньги непонятно откуда. Ещё немного — и к салону Арины Капитоновны появился бы интерес. Настоящий.

— Арина могла их контролировать, — возразила Ольга. — Вы знаете её методы.

Ордынцев коротко усмехнулся.

— Арина Капитоновна стара, — пальцы с удлинёнными фалангами постучали по столу, вертикальные зрачки сузились до нитей. — В отличие от нас, её тело действительно изнашивается. Тридцать лет назад она была цепкой, а теперь тратит время на их искусство, коллекционирует антиквариат, забывает, что она — инструмент.

Он закрыл папку и отложил в сторону.

— Мы не можем позволить себе сентиментальность, Ольга Михайловна. Неконтролируемая активность ваших суккубов привлечёт внимание КГБ. Особенно сейчас, во главе с Андроповым.

Фамилию председателя КГБ он произнёс с особой интонацией — уважение и раздражение одновременно.

— Слишком любопытен. Слишком настойчив. И превосходное чутьё на аномалии. Если начнёт копать глубже…

— У нас есть свои люди в его окружении, — спокойно заметила Ольга.

— Никого достаточно близко, — отрезал Ордынцев. — Андропов — исключение. Не подвержен обычным человеческим слабостям. Ни секс, ни деньги, ни власть сами по себе его не интересуют. Идеалист. Таких сложнее всего контролировать.

Ольга задумчиво постучала ногтем по столешнице.

— И что теперь? В 4-м управлении осталась одна женщина из нашей программы. А в салоне Арины после чистки работают только обычные девушки — не гетеры. Просто красивые, неспособные подпитывать клиентов энергией.

Ордынцев откинулся в кресле. Зелёный свет настольной лампы подчёркивал худобу его лица.

— Именно поэтому я вас вызвал. Нужны новые гетеры: для больницы — с медицинским образованием, это упрощает легенду, для салона — молодые, привлекательные, без лишних амбиций, с безупречными манерами. И ещё две девушки-суккуба из вашего клана. Проверенные и надёжные.

Ольга сжала губы.

— Вы понимаете, что просите отдать ещё двух — после той утилизации?

Ордынцев кивнул.

— Не прошу — ставлю в известность. Операция слишком важна, чтобы сорваться из-за кадрового дефицита. Мы слишком глубоко внедрились в режим, слишком многих в Политбюро сделали зависимыми от энергетической подпитки.

Он помолчал, потом заговорил тише:

— Знаете, почему мы действуем без подстраховки? Хрущёв. Мы считали его идеальным проводником после Сталина. Годами питали энергией, направляли решения. А потом, — он щёлкнул пальцами, — что-то сломалось. Он стал непредсказуем. Убрал наших людей, поставил своих. Мы пытались вернуть контроль, но не успели — он поплатился отставкой. Но мы тоже потеряли всё. Теперь играем без права на ошибку.

Ольга кивнула.

— И что вы хотите от меня конкретно?

— Четыре новых гетеры для больницы — по одной на смену и одна в резерв, — произнёс Ордынцев, скрестив пальцы на столе. — Два суккуба для салона. Больше никаких вольностей:

никакой личной переписки с клиентами, никаких частных визитов, никаких прямых платежей. Всё через систему.

Ольга встала.

— Организую к завтрашнему вечеру.

Ордынцев кивнул. Она уже направилась к двери, когда он тихо добавил:

— И проследите, чтобы с Ариной Капитоновной провели беседу. Её заведению нужен жёсткий контроль.

— Позабочусь, — не оборачиваясь, ответила Ольга.

Она вышла в коридор, тихо закрыла дверь и сжала кулаки так, что острые ногти впились в ладони. Для постороннего — просто раздражённая женщина. Но те, кто умел видеть, заметили бы вокруг неё мерцание холодного белого света — скрытая ярость суккуба, загнанного в угол древними договорами.

Глава 5. Записная книжка

Елена лежала в темноте, вслушиваясь в тишину квартиры — ненадёжную, готовую рассыпаться от любого звука. За стеной, в родительской спальне, слышались то всхлипы, то невнятное бормотание отчима. Ночное безмолвие усиливало их, делало отчётливее, и от этого по коже пробегал озноб, а сердце колотилось быстрее.

Пять дней без мамы, пять ночей в этой квартире, где каждый предмет напоминал о ней: расчёска с несколькими тёмными волосками на туалетном столике, недочитанная книга на подоконнике, чашка с застывшими следами помады, которую Елена всё не решалась вымыть. Она перевернулась на бок, подтянула колени к груди, пытаясь сжаться, спрятаться от всего. Простыня скомкалась, мешала, раздражала кожу. Подушка казалась то слишком мягкой, то чересчур жёсткой — никак не удавалось найти правильное положение для головы.

За стеной снова что-то упало, потом раздался глухой удар — кулаком по столу или по стене. Елена зажмурилась, темнота за закрытыми веками стала ещё гуще. И в этой черноте возникло вчерашнее: белая кафельная стена ванной, запотевшее зеркало, капли воды на плечах и внезапно распахнувшаяся дверь. Сергей Витальевич на пороге, с неподвижным, ничего не видящим взглядом и этим невозможным шёпотом: «Аня!..»

Горячий пар заполнял ванную. Тело ещё хранило расслабленность после долгого душа — первых минут уединения и покоя после похорон. Капли воды стекали по плечам, по спине, оставляя влажные дорожки на коже, и вдруг — скрип двери, холодный воздух из коридора, размытый силуэт в проёме. Секунда оцепенения, неверия, что это происходит.

Сергей Витальевич с потухшим взглядом и трясущимися ладонями. Густой запах перегара. И одно-единственное слово: «Аня». Не её имя — имя матери. Елена помнила, как замерла, не в силах пошевелиться, скованная стыдом и шоком, когда отчим шагнул вперёд, схватил мокрое тело, притянул к себе. Пуговицы на его рубашке царапнули обнажённую кожу. Руки, обхватившие её плечи, оказались неожиданно сильными для человека, которого она всегда считала мягким и неуверенным.

— Аня… — снова прошептал он, и горячее дыхание коснулось шеи.

А потом — то, что Елена пыталась забыть, но что возвращалось снова и снова, особенно в предрассветные часы. Губы Сергея Витальевича, прижавшиеся к её груди. Язык, скользнувший по соску. И — самое страшное, самое постыдное — мгновенная, непрошеная реакция тела: затвердевший сосок, жар внизу живота, дрожь по позвоночнику.

Елена перевернулась на другой бок, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Тело отреагировало тогда помимо воли — на прикосновение мужчины. Не отчима — просто мужчины. Чистая физиология, инстинкт, тепло другого человеческого тела после стольких дней потери.

— Дядя Серёжа, что вы делаете?! Вы с ума сошли? — её голос прозвучал пронзительно, почти детским криком. Отчим замер, будто очнулся. В глазах мелькнуло понимание, ужас, стыд. Отшатнулся, отступил на шаг, другой, третий, пока не упёрся спиной в раковину.

— Господи, Лена... я не... я думал...

Он выскочил из ванной, пошатываясь и хватаясь за дверной косяк. Елена осталась стоять с дрожащими руками. Услышала, как хлопнула дверь спальни. Только тогда смогла двигаться — кое-как натянула халат на мокрое тело, бросилась прочь из ванной, заперлась в комнате, сползла по двери на пол и просидела так час или два, обхватив колени руками.

Елена поднесла ладонь к груди. Кончики пальцев коснулись места, где всё ещё ощущался след его прикосновения. Дрожь прошла по телу снова, но не от отвращения — скорее, наоборот, и от этого было ещё хуже. Стыд за собственные желания жёг щёки в темноте.

Глубокая ночь. За окном изредка проезжали машины, бросая на потолок ползущие полосы света. Во дворе кто-то пьяно выкрикивал имя, пытаясь докричаться до закрытых окон. Обычные звуки ночной Москвы, знакомые с детства, теперь казались чужими, враждебными, принадлежащими миру, от которого Елена была отрезана.

После случая в ванной они с отчимом почти не разговаривали. Он избегал смотреть на неё за завтраком, она уходила в институт раньше обычного. Олег, погружённый в собственное горе, ничего не замечал. Дед большую часть времени проводил у себя, с фотографией дочери на столе и блокнотом, в который записывал что-то мелким, убористым почерком.

Елена села на кровати, включила настольную лампу. Жёлтый свет выхватил из темноты книжные полки, стопку конспектов на столе, платье, небрежно брошенное на стул. Обычная комната обычной студентки — только теперь эта обычность казалась фальшивой, наигранной.

Вчера, когда никого не было дома — Сергей Витальевич на работе, Олег на тренировке, дед у старого сослуживца — она сделала то, о чём думала с первого дня после похорон. Вошла в спальню матери и отчима, решительно подошла к шкафу и открыла дверцу.

Одежда матери всё ещё висела на плечиках — строгие костюмы, платья, блузки. Всё аккуратно отглажено, развешано по цвету. На нижней полке — обувь: чёрные туфли на низком каблуке для работы, парадные лодочки с металлической пряжкой, зимние сапоги. А в самом низу — выдвижной ящик, который Елена никогда раньше не открывала.

Она присела на корточки, потянула за ручку. Ящик открылся с тихим скрипом. Внутри — аккуратно сложенное бельё, но не то, что мама обычно носила дома. Не хлопковые трусы и бюстгальтеры советского производства из ГУМа. Здесь лежали шёлковые комбинации с кружевами, тончайшие чулки, бюстгальтеры нежных пастельных оттенков. Французское, решила Елена, осторожно касаясь мягкой ткани. Настоящее французское бельё, которое не купишь ни в одном магазине СССР — такое привозят дипломаты, журналисты, специалисты, работающие за границей.

Откуда оно у мамы? Никто в семье не ездил за рубеж. Сергей Витальевич был выездным, но только в страны соцлагеря. Дед давно не служил. И мама работала врачом в режимном отделении — без выездов и контактов с иностранцами.

Елена аккуратно отодвинула стопку белья. Под ним обнаружилась плоская коробочка из тёмно-синего бархата. Внутри — флакон духов с узнаваемой этикеткой «Chanel № 5», настоящих, не подделка из комиссионки. Рядом — маленькая хрустальная шкатулка с жемчужными серьгами. И ещё свёрток в шёлковом платке.

Развернула платок и замерла. На ладони лежала записная книжка в кожаном переплёте, с золотым тиснением в углу: инициалы «А.С.» — Анна Ставицкая. Первая страница — чистая. Перелистнула ещё несколько и наткнулась на столбцы цифр. Телефонные номера, десятки номеров, некоторые с пометками: инициалы, короткие, непонятные обозначения. В.К. — К1. Н.Т. — К3, спец. А.Щ. — только четверг.

Елена водила пальцем по строчкам, пытаясь понять, что означают пометки. Это были не пациенты — мама никогда не приносила сведения с работы домой и не записывала контакты больных в личный блокнот. Не друзья семьи — всех близких знакомых Елена знала, и их было немного. Кто же эти люди? И почему мама хранила их номера втайне, спрятав на самом дне ящика, под слоями белья?

Последние страницы были заполнены цифрами — колонки, суммы, даты. Мамин почерк, такой знакомый, аккуратный, но записи совершенно непонятные: «25.01.75 — 350 р.»; «12.02.75 — 400 р. + французское.»; «03.03.75 — отказ, переадресация К.Л.»

Елену пробрал озноб. Она чувствовала: в её руках — нечто важное, связанное с внезапной смертью матери. Нечто, чего ей знать не полагалось.

Она аккуратно завернула находку обратно в платок, задвинула ящик и вышла из спальни, прижимая свёрток к груди. В своей комнате ещё раз пролистала, вглядываясь в цифры и ини-

циалы, пытаясь расшифровать мамины пометки. Потом решительно подняла матрас и засунула блокнот в щель между ним и сеткой кровати. Пусть полежит, пока не станет ясно, что делать дальше.

Теперь, лёжа без сна глубокой ночью, Елена снова думала о находке. О маминых секретах. О Сергее Витальевиче, которого считала скучным, предсказуемым, порядочным преподавателем марксизма-ленинизма — и который оказался способен на то, что произошло в ванной. О собственном теле, отозвавшемся на неправильное, запретное прикосновение.

За стеной снова раздались тяжёлые шаги. Дверь родительской спальни открылась — Елена услышала скрип петель. Шаги по передней, ближе, ближе к её комнате. Сердце подскочило к горлу. Идёт к ней? Сейчас, ночью? В полубреду от выпитого?

Шаги прошли мимо, в сторону кухни. Звякнула посуда, полилась вода. Через несколько минут — обратно, к спальне. Дверь закрылась. Елена выдохнула — даже не заметила, что всё это время сидела, вжавшись в спинку кровати, стиснув колени.

Нужно было разобраться. Понять, что случилось с мамой на самом деле. Узнать, чьи номера записаны в кожаном блокноте. Выяснить, откуда у скромного врача 4-го управления французское бельё и настоящие духи «Шанель». И, может быть, самое трудное — понять, что делать со своими чувствами к отчиму, с этой смесью отвращения, жалости и неуместного, постыдного возбуждения, которое поднималось при воспоминании о его губах на её коже.

Елена легла, натянула одеяло до подбородка, хотя в комнате было тепло. Завтра она начнёт распутывать всё это — а сейчас нужно хоть немного поспать. Завтра занятия в институте, нормальная жизнь, которая должна продолжаться, несмотря ни на что.

Закрыла глаза, попыталась выровнять дыхание. Но не спалось. Уснула только перед рассветом, и сон был тревожный, наполненный смутными образами: мама в белом халате с блокнотом в руках, Сергей Витальевич, склонившийся над обнажённым телом, и незнакомка с золотистыми волосами и янтарными глазами — женщина с похорон, наблюдающая из угла с непонятной улыбкой.

Прошла неделя с тех пор, как на Кунцевском кладбище похоронили Анну Ставицкую, а в квартире на Чистых прудах всё ещё держался запах поминок — тяжёлый, сладковатый дух увядших цветов, перемешанный с едва уловимым запахом ладана. Зеркала уже освободили от чёрных тканей — Сергей Витальевич сорвал их вчера вечером после очередного спора с тестем, бросив что-то резкое о «мракобесии в советской семье».

Звонок в дверь раздался днём — коротко, по-деловому, без повторений. Отчим, сидевший на кухне с нетронутой чашкой чая, вздрогнул и расплескал чай на клеёнку. Никон Трофимович медленно поднялся из кресла, где перечитывал старые письма, и направился в прихожую, на ходу одёргивая пиджак и расправляя плечи — военная выучка, привычка десятилетий.

На пороге стоял мужчина лет тридцати, подтянутый, в хорошем сером костюме. Светло-русые волосы коротко подстрижены, лицо гладко выбрито. Серые глаза смотрели внимательно и спокойно, но с особой цепкостью, выдающей профессиональную наблюдательность.

— Капитан государственной безопасности Родионов, — представился он, показывая удостоверение в красной обложке с гербом. Документ мелькнул перед глазами Никона Трофимовича и тут же исчез во внутреннем кармане пиджака. — По поводу смерти вашей дочери, Анны Никоновны Ставицкой. Могу я войти?

Никон Трофимович молча отступил в сторону. Родионов вошёл, аккуратно вытер ноги о коврик — жест вежливости, настолько обыденный, что казался неуместным при его должности и цели визита. В прихожей капитан коротко, но внимательно оглядел фотографию Анны на стене, вешалку с верхней одеждой.

— Пройдёмте в гостиную, — сказал Никон Трофимович, и Родионов кивнул, будто ему было всё равно, где вести разговор.

В гостиной уже сидел Сергей Витальевич — успел перебраться с кухни и теперь нервно протирал очки носовым платком. При виде капитана КГБ он неловко поднялся, пряча платок в карман. Ладонь, протянутая для приветствия, заметно подрагивала.

— Сергей Витальевич Ставицкий, — представился он. — Муж... вдовец Анны Никоновны.

Родионов пожал руку — коротко, сухо, без давления.

— Присаживайтесь, — кивнул он, и в этом жесте было нечто такое, отчего муж Анны почувствовал себя не хозяином квартиры, а посетителем в чужом кабинете.

Капитан занял место во главе стола — там, где обычно сидел Никон Трофимович во время семейных застолий. Достал из тонкого портфеля папку в казённой серой обложке и рабочую тетрадь в коричневом переплёте, аккуратно положил перед собой шариковую ручку. Каждое движение — точное, выверенное, доведённое до автоматизма.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов, — сказал он, раскрывая тетрадь. — Чисто формальных. Для закрытия дела.

Никон Трофимович сел напротив, сложив ладони на столе — спокойно, основательно. Сергей Витальевич примостился сбоку, нервно поправляя оправу, которая и без того сидела ровно.

— Какие могут быть вопросы? — Никон Трофимович приподнял подбородок. — Причина смерти установлена — сердечная недостаточность. На похоронах присутствовал представитель министерства. Все документы оформлены.

Родионов коротко кивнул:

— Совершенно верно. Но в силу особого статуса лечебного учреждения, где работала ваша дочь, и характера её работы, требуется дополнительная проверка. Стандартная процедура, ничего необычного.

Он раскрыл папку, пролистал несколько страниц — неторопливо, будто выигрывая время.

— Анна Никоновна работала в режимном отделении 4-го управления Министерства здравоохранения, верно?

— Да, — кивнул Никон Трофимович. — Врачом-терапевтом высшей категории.

— И как давно она там работала?

— Пятнадцать лет, — снова ответил старик. — С шестидесятого года.

— А до этого?

— Интернатура в Первом медицинском, потом ординатура там же.

Родионов записывал, хотя вся эта информация, несомненно, была в его досье. Почерк мелкий, буквы одинакового наклона. Ручку он держал слишком крепко — фаланги побелели от напряжения. Единственная деталь, выдававшая, что капитан не так спокоен, каким хочет казаться.

— Расскажите, пожалуйста, о круге общения Анны Никоновны, — попросил он, переводя глаза с Никона Трофимовича на Сергея Витальевича. — С кем она общалась помимо коллег? Были ли у неё близкие подруги? Может быть, встречи с кем-то, кого вы не знали?

Вдовец поёжился.

— У моей жены почти не оставалось времени на общение вне работы, — сказал он, сжимая и разжимая пальцы на коленях. — График был плотный, часто ночные дежурства. Иногда она встречалась с бывшими однокурсницами — Варварой Петровной, Зинаидой... не помню отчества. Они давно не практикуют, одна работает в администрации поликлиники, другая — в аптечном управлении. И была ещё Нина Архипова, медсестра из их отделения. Иногда заходила к нам домой.

— А кто-нибудь... неожиданный? — Родионов чуть подался вперёд. — Может быть, кто-то звонил Анне Никоновне домой? Незнакомые вам люди? Или она сама кому-то звонила, но не говорила, кому именно?

— За женой следить не принято, — сухо заметил Никон Трофимович, бросив косой взгляд на зятя.

Сергей Витальевич неловко поправил галстук.

— Иногда ей звонили по работе. Но я никогда не спрашивал, кто именно. Если нужно было срочно в больницу — она ехала. Я всегда считал, что у врачей — своя этика, свои правила. Не вмешивался.

Родионов продолжал писать. Перевернул страницу, и Никон Трофимович заметил, что на предыдущем листе уже есть записи — подготовительные, сделанные до визита.

— А не замечали ли вы каких-либо изменений в поведении Анны Никоновны в последние... скажем, месяцы перед смертью? Может быть, она была встревожена, обеспокоена? Или, напротив, казалась особенно довольной чем-то?

Никон Трофимович и Сергей Витальевич переглянулись — коротко, но достаточно, чтобы Родионов уловил этот безмолвный обмен взглядами.

— Аня всегда была сдержанной, — произнёс Сергей. — Не привыкла делиться проблемами. Но в последнее время она действительно казалась... напряжённой. Я списывал на усталость. Круги под глазами, плохой сон.

— И вы не спрашивали, в чём дело?

— Спрашивал, конечно, — Сергей Витальевич снял очки и снова принялся протирать стёкла, хотя они и так были чистыми. — Она отвечала, что просто устала, что на работе аврал, что нужно больше отдыхать. Обычные отговорки.

Родионов сделал пометку. Рука на мгновение замерла над бумагой, потом продолжила движение — с бóльшим нажимом.

— А вам не показалось странным, — он поднял глаза и посмотрел в упор на Сергея Витальевича, — что женщина сорока лет, без предшествующих сердечных заболеваний, внезапно умирает от разрыва миокарда? Без предварительных симптомов?

Муж Анны побледнел и отвернулся:

— Я... я не медик. Врачи сказали — такое бывает. Особенно при чрезмерных нагрузках. А у Анны был тяжёлый график, стрессы...

— Никаких предварительных симптомов, — вмешался Никон Трофимович, глядя прямо на капитана, — кроме тех, о которых уже сказал мой зять. Бессонница, раздражительность. Иногда головные боли, она принимала анальгин. Ничего, что указывало бы на проблемы с сердцем.

Родионов воспринял это без видимой реакции. Перевернул ещё одну страницу, но писать не стал. Вместо этого достал из папки фотографию — чёрно-белый снимок Анны в белом халате, стоящей у входа в какое-то здание. Рядом — невысокий полный мужчина в костюме и шляпе.

— Вам знаком этот человек? — капитан указал на мужчину.

Сергей Витальевич наклонился к фотографии, близоруко щурясь.

— Нет. Никогда его не видел.

Никон Трофимович не стал наклоняться — его зрение, несмотря на возраст, оставалось острым.

— Это Кулагин, — сказал он. — Заместитель министра среднего машиностроения. Мы пересекались в шестидесятых на партактивах.

Родионов убрал фотографию обратно в папку, не выказав ни удивления, ни иной реакции.

— А вам известно, что товарищ Кулагин был пациентом вашей дочери? — поинтересовался он.

— Нет, — отозвался Никон Трофимович. — Аня никогда не говорила о своих пациентах. Врачебная этика. И, полагаю, режим секретности.

— Понимаю, — кивнул Родионов.

Он замолчал, перелистывая документы. В комнате повисло молчание — слышалось только шуршание бумаги. Сергей Витальевич беспокойно ёрзал на стуле, бросая косые взгляды то на капитана, то на тестя. Никон Трофимович сидел неподвижно, с выражением сдержанного достоинства на лице, хотя желваки на скулах периодически вздрагивали.

— А были ли у Анны Никоновны какие-то... особые обязанности в больнице? — продолжил Родионов. — Помимо обычных осмотров и лечения?

— Какие, например? — насторожился Никон Трофимович.

— Ну, не знаю... — капитан пожал плечами с деланным безразличием. — Может быть, она участвовала в каких-то специальных программах? Исследованиях? Вела особых пациентов? Работала с иностранными специалистами?

— Насколько мне известно, — медленно произнёс Никон Трофимович, делая паузы между словами, — Аня была обычным врачом-терапевтом. Да, она работала в режимном отделении, где лечили высокопоставленных товарищей. Но не более того.

Родионов начал задавать следующий вопрос, но в этот момент дверь гостиной открылась, и в комнату вошла Елена с подносом, на котором стояли три чашки чая и вазочка с печеньем. О визите капитана её не предупредили, звонок в дверь она не слышала из-за включённого магнитофона. Просто вышла в кухню заварить чаю и, увидев незнакомого человека, решила проявить вежливость.

— Извините, — негромко сказала она. — Я не знала, что у нас гость. Подумала, вы хотите чаю...

Она замолчала, встретив взгляд капитана, и остановилась на пороге. Родионов тоже замер, не договорив фразу. Ручка зависла над раскрытой тетрадью.

Они смотрели друг на друга не больше секунды, но и Никон Трофимович, и Сергей Витальевич заметили странное напряжение, возникшее в комнате. На лице капитана проступило выражение, которого до сих пор не было, — изумление, узнавание, растерянность.

— Это моя внучка Елена, — сухо представил Никон Трофимович. — Дочь Анны. Лена, это товарищ из органов, пришёл задать несколько вопросов.

Родионов моргнул и быстро поднялся. Движение вышло не таким чётким, как прежде, — на долю секунды выправка ему изменила.

— Капитан Родионов, — сказал он, и голос прозвучал чуть выше обычного. Откашлялся. — Степан Дмитриевич.

— Очень приятно, — едва слышно ответила Елена, ставя поднос на стол. — Я принесла чай. Если хотите.

— Спасибо, — Родионов сел обратно, стараясь не задерживаться на ней глазами. — Очень кстати.

Он попытался сделать пометку, но буквы вышли кривыми. Нахмурился, перевернул страницу, начал заново. Потом взял чашку, сделал глоток и обжёгся. Поморщился, но промолчал.

Елена села рядом с дедом, положив ладони на колени. Тёмные волосы собраны в простой пучок, строгая белая блузка с небольшим воротничком-стойкой — сходство с матерью на фотографиях из дела было разительным. Те же высокие скулы, те же тёмные глаза, те же длинные пальцы.

Родионов полистал папку — видимо, собираясь с мыслями. Потом закрыл её и повернулся к Елене:

— Елена... простите, не знаю вашего отчества.

— Сергеевна, — подсказала она.

— Елена Сергеевна, — повторил капитан. — У меня к вам тоже несколько вопросов, если позволите.

Голос звучал теперь иначе — мягче, без прежней сухой деловитости. Отчим это заметил и бросил на капитана быстрый, настороженный взор.

— Конечно, — кивнула Елена. — Отвечу, если смогу.

— Вы близки... были близки с матерью?

— Да, — просто ответила она. — Насколько это возможно при её графике работы.

— Она делилась с вами тревогами? Рассказывала о проблемах на работе?

— Нет. Мама была очень закрытым человеком. Никогда не приносила работу домой — ни физически, ни эмоционально.

— А не замечали ли вы в последнее время каких-то... особенных телефонных звонков? Может быть, ваша мама разговаривала тише обычного? Или использовала какие-то условные фразы?

— Нет, — покачала головой Елена. — Ничего подобного.

О записной книжке с инициалами и столбцами цифр она не сказала ни слова. Что-то подсказывало: этот капитан с цепким прищуром ищет именно такую информацию. И передавать её в руки КГБ, возможно, не стоит.

— А не приносила ли Анна Никоновна домой какие-то... необычные вещи? — продолжал Родионов, не отводя глаз от лица Елены. — Может быть, подарки от пациентов? Импортные товары? Книги, записки?

— Нет, — снова покачала головой Елена. — Никаких подарков.

Родионов несколько секунд изучал её лицо. Потом медленно кивнул:

— Понятно. Что ж, думаю, на сегодня достаточно, — он закрыл тетрадь и убрал её в портфель вместе с папкой. — Благодарю за сотрудничество.

Поднялся, одёрнул пиджак и повернулся к Никону Трофимовичу:

— Я могу вернуться с дополнительными вопросами, если возникнет необходимость. Надеюсь, вы отнесётесь с пониманием.

— Конечно, товарищ капитан, — сдержанно отозвался старик. — Мы всегда рады помочь органам.

Родионов остановил взгляд на Елене.

— До свидания, Елена Сергеевна, — сказал он. — Примите мои соболезнования. Ваша мать была... выдающимся специалистом.

Он быстро, почти по-военному развернулся и направился к выходу. Сергей Витальевич поспешил следом — проводить. Шаги стихли в прихожей, потом хлопнула входная дверь.

Елена осталась за столом рядом с дедом. Смотрела на недопитый чай в чашке капитана и думала о том, как странно он на неё глядел. Будто знал её. Будто искал в её лице ответы на вопросы, которые не решился задать вслух.

— Зачем он приходил, дедушка? — вполголоса спросила она.

Никон Трофимович потёр переносицу усталым жестом:

— Не знаю, Леночка. Может, правда стандартная проверка. А может... — он замолчал, не закончив фразу.

— Что?

— Может, есть что-то, чего мы о твоей маме не знали, — негромко закончил он. — Что-то, что теперь интересует органы.

На лестничной площадке пахло полиролью и старым паркетом. Родионов прикрыл за собой дверь квартиры Ставицких и прислонился спиной к стене. Раздражение нарастало — не на кого-то, а на самого себя, на собственную непростительную слабость, на то, как всё его профессиональное самообладание разлетелось, стоило этой девушке войти в комнату.

Достал пачку «Явы» из внутреннего кармана. Пальцы дрогнули — первая спичка погасла, вторая сломалась. Только с третьей получилось прикурить. Затянулся, огляделся.

— Идиот, — процедил он сквозь зубы, выпуская дым. — Профессионал, а уставился на дочь покойной, как мальчишка.

Он пришёл в эту квартиру с чётким заданием, с конкретными вопросами — узнать, не оставила ли Анна Ставицкая записей, выяснить, насколько тесными были контакты с высокопоставленными пациентами. А вместо этого сидел и пялился на девчонку. И ладно бы просто девчонка — так нет! Дочь объекта оперативной разработки! Дочь женщины, которая, если верить аналитическому отделу, могла быть замешана в очень серьёзные дела.

Но глаза... Тёмные, с чуть заметной раскосинкой, с тем же сочетанием настороженности и затаённой печали, что и у матери на фото. И голос — низкий, с хрипотцой, будто она долго молчала перед тем, как заговорить.

Родионов спустился на один пролёт и остановился у окна. Фотографию Анны Ставицкой из личного дела он изучал всего час назад: белый халат застёгнут до последней пуговицы, тёмные волосы собраны так туго, что ни одна прядь не выбивается, глаза смотрят прямо в объектив — без улыбки, без эмоций. Сухие факты в анкете. Год рождения. Место работы. Должность. Муж. Дети. Ни одной живой детали.

И вот её дочь — с тем же овалом лица, с тем же разрезом глаз, но совершенно другая. Когда вошла с подносом, от неё пахло не духами, а хозяйственным мылом и свежезаваренным чаем. Родионов поморщился. «Это работа, — напомнил он себе, затушив сигарету о подоконник и завернув окурок в обрывок газеты. — Просто работа».

Выпрямился, застегнул пиджак на все пуговицы, пригладил волосы и начал спускаться — уже собранный, уже прежний капитан госбезопасности Родионов, который выполнял свой долг — и только. Когда вышел из подъезда, где его ждала служебная чёрная «Волга», от минутной слабости не осталось и следа.

Сумерки опустились на квартиру Ставицких незаметно. За окнами город затягивало сизой дымкой, в комнатах зажгли свет, но тишина стояла непривычная. Каждый погрузился в собственное горе, отгородившись от остальных.

Елена сидела за письменным столом, бездумно листая конспекты по архивоведению. Буквы не складывались в слова, содержание ускользало. Она отложила тетрадь и потянулась к настольной лампе, чтобы прибавить света.

Телефонный звонок из прихожей — резкий, настойчивый — заставил её вздрогнуть. Один, второй, третий. Никто не подходил. Четвёртый. Пятый. Елена встала.

В передней было темно. Только из-под двери кухни пробивалась полоска света — там сидел отчим с газетой. Из комнаты деда не доносилось ни звука. Елена прошла мимо кухни к телефону.

Сняла тяжёлую трубку, прижала к уху.

— Алло?

— Елену Сергеевну можно? — голос был знакомым.

— Это я.

— Капитан Родионов беспокоит.

Пальцы стиснули эбонит. Скрипнула дверь кухни — на пороге появился Сергей Витальевич, вопросительно глядя на неё. Елена отвернулась к стене.

— Извините за поздний звонок, — голос, искажённый телефонной связью, звучал суше и отстранённее, чем днём.

— Ничего, — ответила она, машинально накручивая шнур на палец. — Я всё равно не сплю.

— У меня возникли некоторые... дополнительные вопросы, — в интонации Родионова проступило что-то более живое, — которые я не задал днём. Вы не могли бы уделить мне несколько минут?

Елена чувствовала присутствие отчима, оглянулась — он стоял у кухонной двери, делая вид, что ищет что-то в шкафу. Она снова отвернулась к стене, пытаясь отгородиться хоть как-то.

— Да, конечно, — ответила она, понизив голос.

— Я вспомнил, что не спросил о записных книжках вашей матери, — начал Родионов, и у Елены перехватило дыхание. — В таких случаях обычно остаются какие-то заметки, дневники... Что-нибудь подобное у Анны Никоновны было?

Шнур, накрученный на палец, врезался в кожу, оставляя белый след.

— Нет, ничего такого, — солгала она, сама удивляясь тому, как легко ложь сорвалась с губ. — Мама не вела дневников. Мало писала вообще. Только поздравительные открытки иногда.

Пауза на том конце провода, затем Родионов продолжил — и голос стал чуть напряжённее:

— А может быть, записи профессионального характера? Истории болезней? Списки лекарств? Номера телефонов?

Елена закусила губу. Она точно знала — нельзя говорить о маминой тайне. Нельзя выдавать последний её секрет.

— Нет, — голос звучал почти естественно. — Мама никогда не приносила рабочие документы домой.

— Да, конечно, вы говорили… — согласился Родионов, и Елене послышалось разочарование. — А может быть, вы просто ещё не всё просмотрели? В шкафах, в ящиках стола...

— Я уже всё проверила, — твёрдо сказала Елена. — Мы с дедом готовили документы для нотариуса. Свидетельство о смерти, паспорт, трудовая книжка... Перебрали все вещи. Никаких записей, никаких дневников.

На этот раз молчание в телефоне длилось дольше. Елена закрыла глаза, готовясь к следующему вопросу.

— Понимаю, — наконец произнёс Родионов, и голос снова смягчился. — Простите, что побеспокоил. Ещё раз примите соболезнования.

— Спасибо, — просто ответила Елена.

— До свидания, Елена Сергеевна, — попрощался капитан после короткой паузы — будто хотел сказать что-то ещё, но передумал.

— До свидания, — она положила трубку.

Стояла у телефона, глядя на красный след от провода на пальце. Только что она солгала сотруднику КГБ. Намеренно. Сознательно. Ощущение было странным — будто она перешагнула через что-то, отделявшее прежнюю, правильную жизнь от новой — незнакомой, опасной.

— Кто это был? — окликнул её Сергей Витальевич, так и стоящий у двери кухни.

— Тот капитан, который приходил днём, — Елена обернулась к отчиму, удивляясь спокойствию собственного голоса. — Спрашивал про мамины бумаги.

— И что ты ответила? — в лице Сергея мелькнула тревога.

— Что никаких бумаг нет, — она пожала плечами. — А что я должна была ответить?

Сергей Витальевич кивнул.

— Правильно. Так и надо. Нечего им... — он не закончил. — Пойду чай поставлю. Тебе налить?

— Нет, спасибо. Я спать пойду.

Елена вернулась к себе, плотно закрыв дверь. Прислушалась — шаги отчима удалились на кухню, звякнула посуда, полилась вода. Убедившись, что никто не идёт следом, быстро подняла матрас и достала шёлковый свёрток.

Села на кровать, развернула. Кожаный переплёт маминого блокнота поблёскивал в свете настольной лампы. Золотое тиснение — «А.С.» Елена провела кончиками пальцев по инициалам, ощущая рельеф, и на мгновение почувствовала близость к матери — острую, почти физическую. Вещь, которую мама держала в ладонях, прятала, которой дорожила.

Открыла, снова всматриваясь в записи. Цифры, инициалы, даты, непонятные пометки. Что они означали? Кто эти люди? И почему мама вела такие записи?

Почему капитан КГБ так настойчиво их искал? Что в них такого? И правильно ли она поступила, скрыв находку?

Елена не знала ответов. Но знала одно — эта записная книжка была единственной нитью к маминой тайне. Отдавать её она не собиралась — ни Сергею Витальевичу, ни деду, ни тем более капитану с пристальными серыми глазами, который смотрел на неё так, будто видел не её, а кого-то другого.

Завернула находку обратно в платок, вернула под матрас. Легла, не раздеваясь, поверх покрывала и закрыла глаза. За окном ветер раскачивал голые ветви деревьев, и тени скользили по потолку — беспокойно, бесшумно.

Глава 6. Персонал для избранных

В небольшом кабинете в здании КГБ на площади Дзержинского было сухо и жарко. Хотя зимние морозы миновали, отопление продолжало работать вовсю, и воздух в помещении давно пересох. Степан Родионов дёрнул узел галстука вниз, расстегнул пуговицу на воротнике. Серая папка с грифом «Для служебного пользования» лежала перед ним — вся жизнь и смерть Анны Никоновны Ставицкой, разложенная по цифрам, чекам и денежным переводам.

Степан методично переворачивал страницы, сравнивая официальные документы с результатами негласной проверки. Заработная плата — сто восемьдесят рублей в месяц. Немало для врача, но и не богатство. На такие деньги можно было жить достойно, но без излишеств: квартплата, продукты, одежда, немного откладывать. Стандартная жизнь медицинского работника высшей категории.

Но рядом лежали другие документы. Чеки из «Берёзки» на заграничную косметику — «Диор», «Шанель», «Нина Риччи». Такси — три-четыре раза в неделю, в то время как большинство граждан садились в такси лишь в крайнем случае. Квитанция из ателье индивидуального пошива: комплекты по сто двадцать рублей за штуку. На одну только одежду уходило больше половины официального заработка.

Родионов достал из ящика стола линованную тетрадь и аккуратным, ровным почерком выписал цифры в столбик. Доходы — расходы. Две ровные колонки, между которыми не сходились никакие концы.

— Откуда деньги, товарищ Ставицкая? — пробормотал он, постукивая карандашом по столу. — На что вы жили?

Перед ним лежала ещё одна выписка — из сберегательной кассы. На имя Ставицкой А. Н. был открыт вклад, на который каждые две-три недели поступали суммы от ста до четырёхсот рублей наличными. Без указания источника. Без документальных подтверждений. Просто наличные, принесённые в сберкассу, судя по подписям в квитанциях, самой Анной Никоновной.

Капитан взял последний лист из стопки — показания Антонины Петровны Ковалёвой, соседки с нижнего этажа. «Анна Никоновна всегда хорошо одевалась, — сообщала соседка. — По-заграничному. Духи от неё такие шли, что, как пройдёт, в подъезде ещё час потом пахло. А шуба у неё была — настоящий песец. Такую в наших магазинах не купишь, разве что из-под полы у спекулянтов, но это ж сколько стоит! Моему мужу, полковнику в отставке, и то не по карману такая».

Карандаш в ладони Степана двигался быстрее, выстукивая нервную дробь. Дело было открыто по факту подозрительных смертей врачей 4-го управления Минздрава — молодых, здоровых женщин, у которых внезапно останавливалось сердце. Поначалу всё укладывалось в привычную рамку: спекуляция, незаконные доходы, возможно, хищение медикаментов. Обычное уголовное дело с чётко прописанными статьями. Но чем глубже он копал, тем меньше факты складывались в простую схему.

Следователь встал, прошёлся по тесному кабинету, разминая затёкшие плечи. На стене висел портрет Дзержинского — строгий профиль, холодный взор. Каждый раз, останавливаясь перед этим портретом, Степан испытывал восхищение и смутную тревогу. Основатель ЧК не знал компромиссов. А ему, Родионову, предстояло найти компромисс между верностью долгу и человеческой порядочностью.

Он вернулся к столу, собрал бумаги в папку и захлопнул её. Нужны были не документы, а живые свидетели — люди, знавшие Анну Ставицкую не по финансовым отчётам, а по реальной жизни. И он точно знал, куда направится утром.

Больница 4-го управления Минздрава встретила Родионова сверкающим вестибюлем и больничным запахом — хлорка, лекарства и та особенная стерильность, какая бывает только в медицинских учреждениях высшего класса. Здесь лечились члены правительства, генералы, дипломаты высшего ранга, деятели культуры, входившие в номенклатурную обойму. Здесь же когда-то работала Анна Ставицкая — врач-терапевт высшей категории, допущенный к высокопоставленным пациентам.

Степан предъявил удостоверение дежурной медсестре, и та сразу напряглась — в лице появились испуг и настороженность.

— Мне нужно побеседовать с коллегами Анны Никоновны Ставицкой, — сказал он, убирая красную книжечку во внутренний карман пиджака. — По поводу её гибели.

— Я... Я должна доложить главврачу, — промямлила медсестра, нервно теребя уголок накрахмаленного халата.

— Докладывайте, — спокойно кивнул Родионов. — Я подожду.

Пока женщина торопливо набирала номер внутреннего телефона, Степан осматривал вестибюль. Кафельный пол отполирован до блеска, кожаные кресла вместо обычных больничных скамеек, на стенах — картины советских художников, изображающие счастливую жизнь народа. Всё чрезмерно лощёное, чрезмерно благополучное, чрезмерно ненастоящее.

Вскоре к нему спустился заместитель главного врача — сухощавый мужчина средних лет с профессорской бородкой и цепким, оценивающим прищуром из-под густых бровей.

— Вишневский Аркадий Семёнович, — представился он, протянув ладонь. — Чем могу помочь органам государственной безопасности?

Родионов пожал протянутую руку — пожатие крепкое, но формальное, отработанное.

— Мне нужна информация о вашем бывшем сотруднике, Ставицкой Анне Никоновне, — сказал Степан, внимательно наблюдая за реакцией собеседника.

Вишневский на мгновение напрягся, но быстро справился с собой.

— Печальный случай. Потеря для нашего коллектива. Анна Никоновна была отличным специалистом. Увы, сердце... с этим не шутят.

— Но она была медиком, — заметил капитан. — Разве не должна была заметить симптомы?

Вишневский сделал неопределённый жест рукой:

— Сапожник без сапог, знаете ли. Врачи часто пренебрегают собственным здоровьем. Да и потом, инфаркт может случиться внезапно, без предварительных признаков. Особенно при таком напряжённом графике.

— Вот об этом графике я и хотел поговорить, — Степан достал из кармана блокнот. — Мне нужны сведения о её рабочем расписании за последние полгода. Особенно график ночных дежурств.

Глаза Вишневского забегали — он явно искал способ уклониться.

— Ну... это всё в отделе кадров. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили документы. Но должен предупредить, у нас специфическая система дежурств, связанная с режимом работы учреждения.

— Я понимаю, — кивнул следователь. — А пока хотел бы поговорить с кем-нибудь из персонала, кто хорошо знал Анну Никоновну. Коллеги, медсёстры...

— Это можно устроить, — Вишневский повернулся к дежурной за стойкой. — Нина, пригласите, пожалуйста, Веру Павловну из кардиологического. Скажите, к ней гость.

Пока ждали, Вишневский пытался поддерживать светскую беседу — о погоде, о состоянии медицины в стране, о новых методах лечения. Родионов отвечал вежливо, но сдержанно, замечая, как нервничает заместитель главврача: то и дело облизывает губы, барабанит пальцами по колену, то и дело отводит взор в сторону.

Наконец появилась Вера Павловна — полная пожилая женщина с усталым добрым лицом и седыми волосами, собранными в тугой пучок под медицинской шапочкой. Вишневский тут же оживился:

— А вот и наша старшая медсестра кардиологического отделения! Работает со дня основания больницы, знает всех и вся. Вера Павловна, товарищ из органов хочет поговорить с вами об Анне Никоновне. Я вас оставлю, мне нужно на обход, — он повернулся к Родионову. — Документы из отдела кадров будут у вас в ближайшее время.

Когда Вишневский удалился, Вера Павловна вздохнула и покачала головой:

— Пойдёмте в подсобку, товарищ... извините, не знаю вашего звания.

— Капитан Родионов, — представился Степан. — Степан Дмитриевич.

Они прошли по длинному коридору, спустились по служебной лестнице на цокольный этаж. Вера Павловна открыла дверь маленькой комнаты, заставленной шкафами с медикаментами.

— Тут нас никто не побеспокоит, — сказала она, прикрывая за собой. — Присаживайтесь, если найдёте куда.

Родионов примостился на краешке стула. Вера Павловна встала у окна, нервно поправляя складки халата.

— Вы об Анечке хотите знать? — спросила она негромко. — Что именно?

— Всё, — просто ответил Степан. — Какой она была? Как работала? Были ли у неё... особые обязанности?

Вера Павловна бросила быстрый взгляд на дверь. Потом повернулась к офицеру:

— Анна Никоновна была хорошим врачом. Внимательным, знающим. Пациенты её любили. Особенно... особенно те, кто повыше рангом.

Пауза. Родионов ждал, не торопя.

— Она часто оставалась на ночь, — продолжила Вера Павловна, перебирая пальцами полу халата. — Особенно в последние годы. Но удивительно было то, что утром приходила, как на парад — причёска, макияж, маникюр... А запах! Французские духи, настоящие. У меня сестра в валютном магазине работает, говорила — такие стоят, как три моих зарплаты.

— И вы не находили это необычным? — спросил Родионов. — Зачем врачу всё это для ночного дежурства?

— Находила, — вздохнула Вера Павловна. — Но кто я такая, чтобы спрашивать? У нас порядки строгие. Лишних вопросов не задают. А кто задаёт — долго не работает.

Она оглянулась и понизила голос:

— Только я однажды видела её утром, когда смену сдавала. Вышла из процедурной — мятая, волосы растрёпаны, помада размазана. И выражение лица... пустое. А через полчаса — уже при полном параде, улыбается. Но улыбка не настоящая. Профессиональная.

Степан подался вперёд:

— Вы не спрашивали, что случилось?

— Спросила. Сказала — устала, вздремнула между процедурами. А я ей: что ж за сон такой, что причёску портит и помаду размазывает? Она вдруг закричала: «Не лезь не в своё дело, Вера! Не хочешь неприятностей — молчи!»

Вера Павловна вытерла украдкой набежавшую слезу:

— Я и молчала. А может, зря. Может, если бы не молчала, она бы жива осталась.

Следователь сделал пометку в блокноте:

— Кто-нибудь ещё знал о её ночных дежурствах?

— Все знали, — пожала плечами Вера Павловна. — Да только все молчали. Попробуй, скажи слово — и до пенсии не доработаешь.

Она вдруг спохватилась:

— Вы только не говорите, что это я рассказала! У меня внучка маленькая, мне её поднимать надо...

— Не беспокойтесь, — заверил Степан. — Ваше имя нигде фигурировать не будет.

Он покинул подсобку с гнетущим ощущением, что картина складывается хуже, чем он предполагал. В отделе кадров его уже ждала папка с графиками дежурств Анны Ставицкой. Устроившись в пустом кабинете, который выделил ему Вишневский, капитан начал методично изучать документы.

График был составлен аккуратно, по всем правилам. Дневные смены, ночные дежурства — всё как положено. Но Степан сразу заметил несовпадение: в официальном расписании ночные смены Анны не приходились на те дни, когда, по словам Веры Павловны, она действительно оставалась в больнице.

Из портфеля он достал другую папку — документы из отдела режима. Журнал посещений особо важных пациентов. И в нём нашлось то, что он искал: некоторые высокопоставленные товарищи регулярно проходили «специальные ночные процедуры», и рядом с их фамилиями стояли инициалы — А.С.

Родионов перевернул последнюю страницу и откинулся на спинку стула. Официальные графики говорили одно, журнал посещений — другое, а показания медсестры добавляли ещё одно измерение. Он потёр переносицу, разглядывая разложенные перед ним бумаги.

Из внутреннего кармана достал фотографию Елены — снимок из оперативного дела. Сходство с матерью поразительное: те же скулы, тот же изгиб губ. Но в её облике было иное — настороженность, которую он заметил ещё при первой встрече, когда расспрашивал о личных вещах Анны Никоновны. Девушка определённо что-то знала и определённо это скрывала.

Он сложил документы в стопку и убрал в портфель. Нужно было проветрить голову. Степан поднялся по запасной лестнице, на площадке между этажами достал пачку «Явы» и закурил, выпуская дым в приоткрытое окно. Внизу — весенняя Москва, серая, едва начинающая зеленеть. Где-то там, в переплетении улиц, жила семья Ставицких со своими тайнами.

Сигарета подрагивала в пальцах. Он думал о Елене и её сходстве с покойной матерью. Теперь оно тревожило его. Дочь женщины, чья гибель окружена молчанием и ложью. Что стоит за благополучием этой семьи? И какую цену заплатила Анна Ставицкая за жизнь, которую вела?

Степан докурил, затушил окурок о металлический подоконник, щелчком отправил его за окно, расправил плечи и направился к выходу. Вопросов было много, ответов — почти никаких. Но он найдёт правду, даже если придётся копать глубже, чем позволено капитану госбезопасности.

Елена сидела в третьем ряду лекционного зала, выводя на полях тетради бессмысленные узоры. Голос преподавателя долетал глухо, отдельными фразами — слышала слова, но они почти не проникали в сознание. Перед мысленным взором стояла записная книжка покойной матери с незнакомыми инициалами и пометками, не предназначенными для чужих глаз.

Аудитория Историко-архивного института помнила ещё дореволюционные времена — высокие потолки с лепниной, огромные окна в толстых деревянных рамах. Через них свет падал широкими полосами, в которых кружились пылинки. Старый паркет поскрипывал под ногами опаздывающих, на массивных деревянных партах — инициалы нескольких поколений студентов, вырезанные перочинными ножиками. Прямо перед Еленой кто-то выцарапал «1952» и неразборчивую подпись. Возможно, этот человек давно стал подающим надежды учёным в Академии наук. А может, его арестовали за самиздат, и он отбывал срок где-нибудь за Уралом…

Игорь Вячеславович Красин стоял у кафедры. Высокий, с тёмными волосами, тронутыми сединой на висках, с прямой спиной и уверенной осанкой — он не был похож на типичного советского преподавателя. Нечто выдавало в нём иную породу — то ли покрой твидового

пиджака, явно не из ГУМа, то ли свободная жестикуляция деревянной указкой, то ли ироничная полуулыбка, которая не сходила с губ.

— Империя создавала видимость благопристойности, — говорил он, пока указка выписывала в воздухе замысловатые фигуры, — скрывая внутреннее разложение. Двойная мораль русского дворянства девятнадцатого века — это не лицемерие отдельных личностей. Это системное явление, порождённое самим устройством общества.

Он сделал паузу, обвёл аудиторию взглядом. На мгновение остановился на Елене — и скользнул дальше, не задержавшись. Просто одна из студенток третьего курса.

— Двойная мораль возникла как компромисс между европейскими идеалами, которые насаждала образованная элита, и традиционным укладом, в котором происхождение и власть значили больше писаных законов, — продолжил Красин, отвернувшись к доске. — Аристократы говорили одно, думали другое, а делали третье. Публично осуждали разврат, а в узком кругу предавались изощрённым забавам. Порицали взяточничество в официальных речах и брали взятки под столом. Рассуждали о всеобщем равенстве за чаем, а наутро пороли крепостных. И эта расщеплённость стала частью культурного кода.

Елена слушала, и в голове сами собой возникали параллели. Мама — безупречный врач, примерная жена, любящая родительница. И она же — с тайной записной книжкой, в которой непонятные инициалы, суммы, пометки. Импортное бельё и дорогие вещи, которых не купить на врачебную зарплату.

«Говорили одно, думали другое, а делали третье». Как мама. Как многие вокруг.

Красин тем временем расхаживал перед кафедрой, движения его были точными, экономными, полными внутренней энергии. Когда он поворачивался к доске, пиджак натягивался на плечах, обрисовывая ровную линию спины. Когда наклонялся над записями, тёмные волосы падали на лоб, и он небрежно откидывал их назад.

Елена следила за ним, впитывая каждый жест, каждую интонацию. Карандаш замер — она забыла о конспекте, поглощённая видом человека, который воплощал для неё всё, чего она сама хотела достичь: интеллектуальную свободу, независимость мышления, внутреннее достоинство.

— Загляните в дневники и письма того времени, — Красин подошёл к краю кафедры, опёрся кончиками пальцев, подался вперёд. — Там вы найдёте не только описания любовных интриг и балов, но и удивительные признания. Помещик, который публично призывал к строгости нравов, в частных записях описывал свои оргии. Дама, известная набожностью, в дневнике перечисляла любовников и суммы, которые они ей дарили. За благообразным фасадом скрывалась иная реальность.

Елена вздрогнула. «Суммы, которые они ей дарили» — как похоже на цифры в кожаном блокноте, спрятанном под матрасом. Как загадочные пометки: «французское», «отказ», «переадресация».

Но Красин, конечно, ничего не знал. Просто читал лекцию, как десятки раз для сотен студентов. И всё же его слова точно ложились на то, что мучило Елену со дня гибели родительницы, — проступала правда, которую она пока не могла сформулировать.

Студентка украдкой осмотрелась. Соседи по аудитории сосредоточенно записывали за лектором, иногда поднимая головы, чтобы свериться с доской. Обычный учебный день, обычная лекция. Только для неё всё было иначе — каждое слово Красина отзывалось в ней, каждый жест не отпускал.

Она поймала себя на том, что разглядывает его кисти — крупные, но не грубые, с аккуратными ногтями и выступающими венами. Руки человека, привыкшего работать с книгами, но не чуждого и физического труда. Ладони, которые могли бы...

Елена оборвала мысль, но было поздно. Воображение уже нарисовало другую картину: эти ладони на её обнажённых плечах, эти пальцы, скользящие по спине, губы, шепчущие на ухо.

И не в аудитории, а там, в ванной, где три дня назад стоял Сергей Витальевич с остекленевшим выражением лица и шептал имя её покойной матери.

«Что со мной происходит?» — испуганно подумала она, чувствуя, как щёки заливает румянец, как внизу живота разливается предательское тепло. Похоть — то слово, которым клеймили грешниц в книгах по древнерусской литературе. Обжигающее, постыдное чувство, о котором не писали в комсомольских газетах и не говорили на собраниях.

И всё же оно было здесь, внутри неё — тёмное, мучительное, неуправляемое. То, что она испытала в ванной, когда губы отчима коснулись её груди, — не только отвращение и страх, но и вспышка удовольствия, за которую она теперь казнила себя. И то, что чувствовала сейчас, наблюдая за Красиным, — не академический интерес и уважение, а гораздо более глубокое, животное, запретное.

В воображении возникла другая сцена: не Сергей Витальевич в дверях ванной, а Игорь Вячеславович. Не пьяный, затуманенный взор, а ясные, умные зрачки с искорками иронии. Не бормотание «Аня», а нежное «Лена…», произнесённое его глубоким голосом. И не отталкивание, а притяжение, согласие, желание.

Она представила, как его ладони обхватывают её мокрые плечи, губы касаются шеи, потом ключиц, потом спускаются ниже. Как он произносит её имя — не по-отечески, а как мужчина, который видит в ней женщину. Как прижимается к ней всей плотью, и она чувствует его тепло, силу, желание.

Видение было таким ярким, что Елена едва не застонала вслух. Тепло внизу превратилось в пульсацию, которую невозможно было игнорировать. Она сжала бёдра, но стало только хуже. Каждое слово Красина, каждый жест отзывался волной возбуждения.

А он продолжал лекцию, не подозревая о том, что происходило со студенткой в третьем ряду.

— Двойная жизнь высшего общества разъедала империю изнутри, — голос Красина теперь казался Елене интимным шёпотом, хотя звучал всё так же ровно и чётко. — Она порождала цинизм и неверие в собственные идеалы. Нельзя безнаказанно лгать даже самому себе. Рано или поздно правда выходит наружу, и тогда рушатся не только репутации, но и жизни.

Он снова окинул взглядом аудиторию и на этот раз задержался на Елене чуть дольше. Заметил пристальное внимание, румянец, приоткрытые губы. В его лице мелькнуло удивление — но тут же исчезло. Отвернулся и продолжил говорить.

Елена поняла: для него она — никто. Одна из студенток, которых он видит дважды в неделю в течение семестра, а потом забывает с новым потоком. Её восхищение, её фантазии — всё это не имеет значения для человека, который уже повидал сотни таких же девочек с восторженными очами, влюблённых в его ум, в его манеру говорить, в его независимость.

А для неё он был больше, чем преподаватель, — воплощение свободы в несвободном мире, голос разума среди пропагандистского шума, живое доказательство того, что можно оставаться собой даже в системе, требующей единообразия.

Красин чертил на доске схему, объясняя связь между политической системой и моральным обликом элиты, но студентка уже не слушала. Наблюдала за его профилем, за тем, как он двигается, и понимала: это безнадёжно. Он никогда не увидит в ней равную. И всё же не могла перестать думать о нём, не могла подавить это новое чувство, которое теперь будет преследовать её не только в снах, но и наяву.

Страница тетради осталась почти пустой — узоры на полях да заголовок: «Двойная мораль русского дворянства XIX века. Лекция И. В. Красина».

На кухне квартиры Ставицких пахло свежезаваренным чаем с бергамотом и домашним печеньем, которое Елена испекла утром, пытаясь отвлечься от навязчивых мыслей. Свет из окна ложился на скатерть в бело-голубую клетку. За стеклом весенний ветер перебирал моло-

дую листву тополей, а здесь, в тесном уюте кухни, две подруги сидели друг напротив друга, обхватив горячие чашки ладонями.

— А помнишь, как в пятом классе мы решили сбежать с урока физкультуры? — Алина улыбнулась, отхлебнув из кружки. — Спрятались в раздевалке, а Марь Иванна нас заперла, думая, что все ушли на стадион.

Елена кивнула, на секунду забыв о тяжести последних дней:

— Да, и нас нашли только через два урока, когда шестой «А» пришёл переодеваться. Мама тогда так рассердилась...

Упоминание о матери повисло в воздухе. Подруга отвела взгляд, осторожно поставила чашку на блюдце, стараясь не звякнуть фаянсом.

— Как ты справляешься? — вполголоса спросила она, разглаживая складки на юбке.

Елена пожала плечами:

— Не знаю. Хожу на занятия. Готовлю еду. Стираю. Будто если делать всё, что делала раньше, то ничего не изменилось.

— Но всё изменилось, — негромко заметила Алина.

— Да.

Помолчали. В холодильнике тихонько гудел компрессор. В соседнем дворе кто-то громко звал Мурку.

— Тут приходил следователь из КГБ, — вдруг сказала Елена, удивляясь собственной решимости. — Капитан Родионов. Задавал вопросы о маме.

Подруга вздрогнула, расплескав чай на скатерть:

— КГБ?! Зачем?

— Сказал, стандартная проверка. Из-за режимности маминой работы.

— И ты поверила?

Елена поднялась, взяла полотенце и промокнула пятно:

— Нет, конечно. Он определённо искал что-то конкретное. Звонил потом, спрашивал про дневники, записи, личные документы.

— И что ты ответила? — Алина всматривалась пристально, сама став похожей на следователя.

— Что ничего такого у мамы не было, — Елена закусила губу. — Но это неправда.

Она вышла из кухни, оставив подругу в замешательстве. Через минуту вернулась, прижимая к груди свёрток в шёлковом платке. Осторожно положила его на стол и развернула.

— Я нашла это у мамы в шкафу, — прошептала Елена, хотя в квартире никого, кроме них, не было. — Под бельём, на самом дне.

На столе лежала записная книжка в тёмно-коричневом кожаном переплёте с золотыми инициалами «А.С.» в уголке. Елена открыла её, перелистала до страницы с записями.

— Смотри, — повернула находку к подруге. — Инициалы, номера телефонов, пометки. А вот тут — даты и суммы. Большие. И обозначения: «французское», «отказ», «переадресация».

Алина протянула руку, но на мгновение замерла, не касаясь страницы. Потом всё же взяла, перелистнула несколько листов. По лицу подруги пробежала тень — узнавание, страх, подтверждение чего-то. Длилось это долю секунды — Алина тут же вернула лицу нейтральное выражение, но Елена успела заметить.

— Что такое? — спросила она. — Ты что-то знаешь об этом?

— Нет, — поспешно ответила подруга, возвращая блокнот. — С чего ты взяла?

— У тебя изменилось лицо, когда ты увидела записи.

Алина рассмеялась — излишне громко, излишне деланно:

— Глупости. Просто подумала... ну, это, наверное, рабочие записи. Твоя мама ведь была врачом. Может, пациенты? Список назначений?

Говорила небрежно, но пальцы крепко сжимали кружку, а сама она смотрела куда-то в сторону — на кончик чайной ложки, куда угодно, только не Елене в лицо.

— Не похоже на медицинские записи, — возразила Елена, захлопывая кожаный переплёт. — Если бы это были пациенты, тут были бы диагнозы, лекарства. А здесь — только инициалы и деньги. И зачем маме прятать это под бельём?

— Не знаю, — Алина поднялась, подошла к окну, встав спиной к подруге. — Может, подрабатывала частной практикой? Это запрещено, вот и прятала.

— На такие суммы? Триста пятьдесят рублей за визит? Это почти две месячные зарплаты!

Алина стояла неподвижно, уставившись во двор. Плечи напряглись, спина выпрямилась. Что-то в этой позе — настороженное, защитное — заставило Елену замолчать. Она поняла: подруга что-то знает. Знает и не хочет говорить.

— Алина, — еле слышно произнесла Елена, — что ты скрываешь?

Та не оборачивалась. Елене был виден только профиль — чётко очерченный на фоне светлого окна, с плотно сжатыми губами и неподвижным выражением. Алина замолчала надолго, и молчание это было другого свойства — не пауза, а отсутствие.

Она снова стала семнадцатилетней девочкой в нежно-голубом платье, купленном специально для того приёма. Мама — Кристина Попова — сидела рядом в такси, поправляя причёску.

— Запомни, Алиночка, — говорила она вполголоса, — сегодня будут очень влиятельные люди. Держись скромно, отвечай, только когда спрашивают. И главное — улыбайся.

Девушка кивала, ощущая смутную тревогу. Кристина называла это мероприятие «культурным собранием с интересными людьми». Но было что-то тревожное в том, как тщательно она к нему готовилась, как настаивала, чтобы дочь надела платье с открытыми плечами, хотя на улице стоял октябрь.

Такси остановилось возле старинного особняка в Замоскворечье. Алина поправляла складки платья, выйдя из машины, пока Кристина расплачивалась с водителем. Тяжёлая деревянная дверь подъезда со скрипом поддалась. В полутёмном парадном их встретила женщина средних лет с пышными крашеными волосами и ярко накрашенными губами.

— Кристиночка, дорогая! — воскликнула она, обнимая Кристину. — И Алиночка! Как выросла! Какая красавица!

Цепкий, оценивающий взор скользнул по фигуре девушки, и той стало не по себе.

Они поднялись по широкой каменной лестнице, вошли в большую квартиру с высокими потолками и антикварной мебелью. В гостиной собралось человек пятнадцать — мужчины в добротных костюмах, женщины в нарядных платьях. Играла приглушённая музыка, звенели бокалы, раздавался сдержанный смех.

— Это Арина Капитоновна, наша хозяйка, — шепнула Кристина, указывая на маленькую сухую женщину с удивительно живыми, молодыми глазами, которая разговаривала с седовласым мужчиной в очках. — Очень образованный человек, искусствовед.

Приём начался с концерта — молодая пианистка играла Шопена. Потом ужин, разговоры об искусстве, литературе, последних театральных постановках. Алина расслабилась — всё было именно так, как говорила Кристина. Культурное мероприятие для избранных.

А потом атмосфера изменилась. Арина Капитоновна объявила «свободное общение». Свет стал приглушённее, музыка — тише и интимнее. Мужчины начали исчезать по одному, уводя с собой женщин. Алина заметила, как мать удалилась в дальнюю комнату с тем седовласым в очках.

— А ты, деточка, посиди пока тут, — сказала Арина Капитоновна, протягивая девушке бокал с шампанским. — Книжку почитай, вон сколько на полках. Через пару лет и ты сможешь... участвовать.

Алина не смогла бы сказать, когда воспоминания о доме в Замоскворечье, с его потемневшей лепниной и скрипучим паркетом, стали невыносимыми. В тот раз Арина Капитоновна, в накидке цвета старого золота, снова встречала гостей: длинный стол сервирован с блеском, свечи отражались в бокалах, серебряные приборы расставлены по линейке. Кристина, как всегда, волновалась: весь день гладила платье дочери, подкручивала локоны, уговаривала улыбаться перед зеркалом. В такси то и дело поправляла вырез на праздничной блузке Алины — то расстёгивала пуговицу повыше, то застёгивала обратно, не решив, что лучше: скромность или подчёркнутая взрослость.

Мероприятие — поначалу совершенно невинное — расползалось в памяти неровными пятнами. Литературные разговоры, Гончаров и психология российского чиновничества, потом шутки, дегустация чёрной икры, привезённой из Астрахани, потом посиделки в «малой комнате», где, по словам хозяйки, «происходят настоящие разговоры». За всем стояло напряжение, в котором каждый жест, каждый взгляд, даже смех были чуть-чуть неестественными.

Около одиннадцати Арина Капитоновна велела разлить розовое шампанское. Алина не любила алкоголь, но за праздничным столом отказаться значило бы выделиться, а выделяться Кристина запрещала. Арина подняла тост за «наших юных красавиц» — и все разом уставились на Алину. Кто-то из мужчин произнёс: «Ну, за будущее!», и она, краснея, осушила бокал, пытаясь спрятать неловкость за звонким, пустым смехом.

На языке остался необъяснимый привкус — горечь и приторная сладость. Веки стали тяжёлыми, очертания предметов поплыли, звуки отдалились, а время — как всегда в этом доме — пошло по-другому. Она помнила, как какой-то юрист с усами, который в начале раута читал стихи, повёл её в кабинет показать коллекцию перьевых ручек. Потом — всё в тумане: тяжесть в затылке, чужие голоса за стеной, горячее дыхание, ладонь, раздвигающая колени, от которой она пыталась отмахнуться, но ладонь возвращалась. Было больно. Было унизительно. Было по-настоящему страшно. Она попыталась закричать, но голос не шёл — застрял где-то между лёгкими и горлом.

Когда открыла глаза, за окном светало. Голова пульсировала, губы разбиты, на бедре — синяк в виде отпечатка чужих пальцев. Лежала на диване в гостиной, укрытая чьим-то пиджаком. Первое, что увидела, — Арина Капитоновна рядом, с выражением почти материнского сочувствия, но в зрачках — холодный расчёт.

— Не уследили за тобой, деточка, — сказала она мягко и протянула стакан воды. — Но не расстраивайся. Всё быстро забудется.

В этот момент Алина заметила в руках хозяйки фотографии. Деталей не разобрать, но себя узнала сразу: растрёпанные волосы, щёки в слезах, блузка сползла с плеча. А ещё — толстый конверт: «Вот что я хотела бы тебе показать, Алиночка. Если будешь умной девочкой, никто этого никогда не увидит».

Потом — долгая дорога домой на такси. Кристина сидела рядом молча, только иногда вытирала слёзы со щёк дочери кружевным платком, который всегда носила в сумочке. Дома долго не могла заговорить, только когда Алина, обессиленная, опустилась на пол в своей комнате, Кристина склонилась и крепко обняла за плечи.

— Все через это проходят, — прошептала она, уговаривая дочь не вспоминать. — Это наша цена за возможность жить чуть лучше, чем остальные. За будущее. Ты же сильная девочка.

Три дня Алина не выходила из комнаты. Её трясло от отвращения — к себе, к миру, к матери, к этим людям с их вежливыми улыбками. Её рвало от мысли о еде, от любого прикосновения, даже собственного. На четвёртый день пришла Арина Капитоновна — без предупреждения, с коробкой шоколадных конфет и новым платьем в пакете. Хвалила девушку за выдержку, за воспитанность, за «умение держаться» и, поглаживая по запястью, шептала: «Ты теперь почти взрослая. Ты теперь — наша».

Дальше всё стало обыденным. Встречи, где надо было улыбаться. Люди, которых надо было очаровывать, терпеть, иногда выслушивать их откровения, иногда — гораздо больше. Кристина каждый раз повторяла: «Ты справишься, моя хорошая. Ты — необыкновенная». Она стала для дочери наполовину чужой — в ней проступила стальная решимость, не оставлявшая места для сомнений, для жалости. Алина знала: если попробует вырваться — перекроют всё: институт, прописку, любые знакомства. Арина Капитоновна была способна на что угодно.

В какой-то момент Алина перестала считать себя человеком. Стала декорацией, «молодой спутницей», чьё лицо — всегда вне фокуса, чьи желания не имеют значения. Научилась с закрытыми глазами разбираться в мужчинах — по запаху, по походке, по интонации. Поняла разницу между теми, кому нужна просто тёплая живая женщина, и теми, кто жаждал боли, покорности, унижения. Для первых она была красивой оболочкой, для вторых — безымянной жертвой, которую можно купить за конверт с деньгами или за возможность «уладить вопрос». Иногда это был ужин, иногда — бессонная ночь в гостиничном номере с видом на Кремль, где она слушала чужие сны и рыдала под душем, пытаясь смыть всё, что с ней сделали за эти часы.

Но хуже всего было возвращение домой, где Кристина встречала её на пороге с неизменной улыбкой и разогретым ужином. Будто дочь не насиловали только что, будто ничего не происходило, будто всё это безумие — часть привычной, будничной жизни, где страдания твоего ребёнка — побочный эффект больших надежд и ещё больших амбиций.

Алина много раз хотела рассказать кому-то, пожаловаться, закричать, но даже подруги оказались за чертой доверия. Смотрела на Лену — и понимала: если узнает, будет либо презирать, либо бояться, либо жалеть. Ни один вариант не подходил. И она предпочитала молчать.

Теперь, когда Лена вопрошала в упор с этой отчаянной надеждой — «скажи мне правду», — Алина впервые за два года почувствовала, что слова могут изменить положение вещей. Но рот пересох, а язык не слушался. Она не могла подобрать слов, как когда-то с матерью:

— Но это же... Это…

— Это жизнь, — отрезала тогда Кристина. — Система. Думаешь, твоё поступление в медицинский было случайностью? Или наша квартира? Или загранкомандировки? Думаешь, все это имеют?

В тот момент Алина поняла, что ей не вырваться. Она уже приняла плоды этой системы, уже стала её частью. Как Кристина. Как Анна Ставицкая, которую она иногда видела на этих встречах, но делала вид, что не узнаёт мать школьной подруги.

— Алина? Ты меня слышишь? — голос Елены вернул её в настоящее.

Она моргнула, глубоко вдохнула, медленно повернулась от окна. Лицо снова стало бесстрастным, только в глубине зрачков держалась боль, которую не удавалось скрыть.

— Извини, задумалась, — Алина вернулась к столу, взяла в руки кружку. Чай остыл. — Знаешь, мне пора. Дежурство в больнице, надо ещё домой заскочить, переодеться.

Елена кивнула, заворачивая свою находку обратно в платок. Чувствовала, видела, что подруга недоговаривает, но настаивать не стала. Если Алина молчит — значит, на то есть причины.

— Конечно, — сказала она. — Спасибо, что зашла.

— Я позвоню на днях, — Алина поспешно собиралась, избегая смотреть на свёрток. — И, Лена... будь осторожна с этим. Не показывай никому. Особенно... Особенно людям из органов.

Произнесла так невнятно, что Елена едва расслышала. Схватила сумочку и выскользнула в прихожую. Хлопнул замок входной двери.

Елена осталась сидеть за столом, устремив взгляд на свёрток. Что заставило подругу так испугаться? И как это связано с гибелью матери?

Глава 7. Падение

В семье Елены время после похорон матери тянулось мучительно. Унылые вечера повторялись, менялись лишь оттенки теней за окном и длительность молчания. Без хозяйки дома быт странным образом не рухнул — на столе появлялись щи, тапочки стояли парами в прихожей, но между членами семьи поселилась какая-то неестественная тишина.

Сергей теперь возвращался домой только через гастроном на углу Чистых прудов и улицы Чернышевского. Дешёвое пойло не приносило радости — лишь короткое забытьё, которое заканчивалось вместе с вином в бутылке.

Олег приходил за полночь, хлопал дверью и исчезал в своей комнате. Елена, напротив, ритуально накрывала на стол к ужину, резала хлеб, расставляла приборы — заполняла отсутствие матери мелкими привычными жестами.

Сергей чувствовал себя чужим в этих ритуалах. Ему хотелось уехать к морю — сидеть на берегу, глядя вдаль, курить, пить кофе, молчать о прошлом. Но он оставался дома: новая роль главы семьи держала не хуже замка. А ещё — Елена за соседней стеной. Он смотрел на неё всё пристальнее, различая за обыденностью что-то опасное, в чём боялся сам себе признаться.

Однажды утром Елена возилась с бельём, решив починить накопившиеся дефекты. Сергей заметил, как её пальцы уверенно перебирают пуговицы, как она, чуть склонив голову, подцепляет нитку зубами и обрезает маникюрными ножницами — точным, коротким движением. Он смотрел на это с неотрывным вниманием, впервые видя перед собой женщину, а не ребёнка или падчерицу. Было в этом что-то болезненное, вызывающее чувство собственной вины. Елена, поймав его взгляд, сначала смутилась, потом демонстративно отвернулась, но Сергей уловил: на секунду по её лицу скользнуло удовольствие — запретное, неосознанное.

В университете он становился всё более рассеянным. На лекциях его легко было застать врасплох: порой забывал, о чём только что говорил, и переходил на другую тему, не дождавшись вопросов студентов. С коллегами стал груб, резок, по телефону отвечал односложно. На кафедре ходили слухи о его романе с молодой аспиранткой, хотя у Сергея давно не было ни сил, ни настроения для подобного.

Вечерами, когда Елена запиралась в комнате и читала, Сергей сидел в кресле у окна с гранёным стаканом дешёвого вина и думал о ней. Мучило одиночество, но ещё больше — невозможность назвать это чувство. Образ жены в его сознании всё чаще путался с образом Елены, и подмена эта пугала и притягивала одновременно. Он ждал её шагов в коридоре, шелеста отложенной книги, светлого пятна халата в дверном проёме — и пугался того, что ждёт. По ночам воображение рисовало то, о чём он был не в силах думать при свете.

Даже Никон Трофимович, обычно погружённый в радиостанции и политические сводки, стал замечать перемены в Сергее. Однажды поздним вечером, когда дом погрузился в тишину, дед зашёл на кухню попить воды и застал зятя за столом — с бутылкой и пустым взглядом, устремлённым в никуда.

— Ты чего не спишь? — спросил старик.

Сергей пожал плечами.

— Не спится.

— Бутылки опустошаешь одну за другой, — покачал головой Никон, скользнув взглядом по выстроившимся в углу пустым бутылкам. Сергей только сжал губы.

— Тебе бы к врачу.

— Какой врач мне поможет? — Сергей провёл ладонью по лбу, вытирая испарину, и отвернулся к окну, за которым чернела ночь.

Между ними повисло молчание — долгое и тяжёлое. Через минуту дед произнёс медленно, вкрадчиво:

— Твои глаза выдают тебя, когда ты смотришь на Лену.

Сергей замер. Хотел что-то возразить — про воспитание, про то, что всегда относился к ней уважительно, и что не помнит ни одного случая, чтобы хоть раз, хоть мысленно… Но все слова застряли в горле, и он просто кивнул, опустив голову.

— Не дури, — бросил дед и вышел.

Слова тестя не давали Сергею покоя до рассвета. Он ворочался на влажных от пота простынях, закрывал глаза и видел Елену — то склонившуюся над учебником, то у раковины с посудой, то мелькнувшую в дверном проёме в халате. Каждый взгляд, каждый случайный жест, каждое «доброе утро» теперь обретали иной смысл.

По вечерам в квартире Ставицких повторялся неизменный ритуал — ужин за общим столом, проходивший в напряжённом молчании, прерываемом лишь звяканьем вилок по тарелкам да редкими пустыми фразами. Елена всё чаще ловила на себе взгляд отчима — не отцовский, не родственный, а изучающий, будто Сергей Витальевич видел в ней не падчерицу, а замену умершей жены. Она опускала глаза, торопливо доедала и уходила к себе, но даже за закрытой дверью не могла избавиться от ощущения, что он всё ещё наблюдает за ней — через стены, через расстояние, через рушащиеся приличия осиротевшей семьи.

Это началось после того случая в ванной. Тёплый пар окутывал помещение, капли воды скользили по коже Елены, когда дверь внезапно распахнулась и пьяный, остекленевший Сергей Витальевич схватил её за плечи, припал губами к груди и прошептал имя — «Аня…» — с отчаянной, иступлённой потребностью.

Сначала Елена надеялась, что он ничего не помнит — слишком пьян был в тот вечер. Но на следующий день, когда она передавала ему чашку с чаем, его пальцы задержались на её ладони дольше необходимого. На второй день отчим остановился в дверном проёме кухни, когда она собиралась выйти, и ей пришлось протискиваться мимо, вдыхая тяжёлый запах его одеколона и ощущая его дыхание на своих волосах.

На третий день он сел рядом на диван в гостиной, хотя обычно предпочитал кресло у окна, и наклонялся непозволительно близко, разглядывая фотографии в семейном альбоме, который Елена просматривала. Его ладонь легла на спинку дивана позади неё, почти касаясь её плеч.

— Ты так похожа на неё в этом возрасте, — произнёс он, указывая на снимок, где Анна, совсем молодая, улыбалась в объектив, держа на руках маленькую Лену. — Глаза, губы — всё то же.

Его дыхание пахло мятными леденцами, которыми он пытался перебить запах выпитого. Елена отодвинулась, бормоча что-то о домашнем задании.

Когда она поднялась с дивана, то уловила его оценивающий, нездоровый взгляд на своей фигуре. Не отцовский — мужской. Он искал в ней потерянную жену.

Елена стала задерживаться в институте допоздна, засиживаясь в библиотеке над конспектами до последнего звонка. Дома закрывалась в своей комнате, выходя только в ванную или на кухню. Но даже там, стоя у плиты и помешивая суп, чувствовала, как по позвоночнику пробегает холодок — Сергей Витальевич замер в дверном проёме, наблюдая за ней с той же смесью тоски и голода во взгляде.

— Тебе помочь? — спрашивал он, делая шаг вперёд.

— Нет, спасибо, я сама, — торопливо отвечала Елена, не оборачиваясь, уставившись на кипящую кастрюлю.

Но он не уходил. Стоял позади, так близко, что она ощущала жар его тела. Пространство кухни сжималось, воздух густел.

В эти дни дед почти не покидал своей комнаты, погружённый в собственное молчаливое горе. Олег пропадал на тренировках с утра до вечера. И Елена оставалась наедине с отчимом и его растущей одержимостью.

Однажды, проходя по коридору, она мимоходом взглянула в приоткрытую дверь ванной. Сергей Витальевич стоял перед зеркалом, расчёсывая волосы. В отражении их взгляды пересеклись. Он улыбнулся — не по-отечески, а с тайным намёком, будто между ними существовало нечто общее, связанное с этим местом.

— Лена, — позвал он, — зайди на минутку.

Она сделала вид, что не услышала, и поспешила к себе, захлопнув дверь громче, чем следовало. Сердце колотилось в горле. Присела на край кровати, обхватив плечи руками.

Что происходит? Неужели нормально видеть в падчерице замену умершей жене? Может, горе помутило его рассудок? Или это всегда было в нём, просто мама, пока была жива, сдерживала?

Мысли путались. В голове звучал голос матери: «Отчим тебе не чужой. Он тебя с двенадцати лет растил. Уважай его как отца». Но как уважать человека, чей взгляд раздевает тебя? Как доверять тому, кто видит в тебе не личность, а тень умершей жены?

Елена доставала из-под матраса записную книжку матери с загадочными инициалами и суммами. Листала страницы, надеясь найти подсказку, нить, связывающую настоящее с прошлым. Возможно, мать тоже что-то замечала, что-то знала о своём муже?

Но книжка молчала. Только цифры, инициалы, короткие обрывочные записи непонятного смысла.

Это случилось в четверг вечером. Елена мыла посуду на кухне. Вода текла из крана, тарелки поблёскивали под слоем пены. На плите шумел, закипая, чайник.

Шаги она услышала, но не придала значения. А потом внезапно почувствовала — он здесь, позади. Стоит и наблюдает. В воздухе повис аромат одеколона.

— Я помогу, — сказал Сергей Витальевич, становясь рядом. — Ты моешь, я вытираю.

Он взял полотенце и принялся протирать чистые тарелки, которые она складывала на сушилку. Их руки иногда соприкасались, и каждый раз Елена вздрагивала.

Работали молча. Только шум воды, позвякивание посуды, дыхание почти в унисон. Когда последняя тарелка была вымыта, Елена вытерла ладони о фартук и шагнула к выходу из кухни.

— Подожди, — голос отчима звучал хрипло. — Нам нужно поговорить.

— О чём? — спросила она, не оборачиваясь.

— О том, что происходит между нами.

— Между нами ничего не происходит, дядя Серёжа, — резко ответила она. — Вы — мой отчим. Я — дочь вашей покойной жены.

— Лена, — он шагнул к ней, положил ладонь на плечо, — обернись.

Она нехотя повернулась. Сергей Витальевич стоял вплотную — так близко, что можно было разглядеть красные прожилки в его глазах, морщинки вокруг рта, проседь в волосах. Ладонь отчима переместилась с плеча на её шею, большой палец коснулся подбородка.

— Ты так на неё похожа, — прошептал он. — Иногда мне кажется, что она вернулась. Что это был просто страшный сон. Что она здесь, со мной.

— Я — не она, — голос Елены дрожал. — И никогда ею не стану.

— Но мы бы… — подушечки его пальцев прошлись по её щеке, — мы могли бы…

Он наклонился к ней. Зрачки расширились, поглощая радужку. От его дыхания тянуло алкоголем — не слишком сильно, но достаточно, чтобы понять: он снова пил. Не до беспамятства, как тогда, в ванной, но достаточно, чтобы переступить границу.

Когда его губы почти коснулись её рта, что-то внутри Елены взорвалось — долго копившиеся страх, гнев, отчаяние наконец выплеснулись. Ладонь взметнулась вверх — и звук пощёчины разнёсся по кухне.

Щека отчима покраснела — пять пальцев отпечатались на коже. Он отшатнулся, прижав ладонь к лицу. В глазах промелькнуло изумление, боль, а потом — осознание.

— Господи! — выдохнул он, отступая. — Господи, что я делаю?..

Елена стояла, прижавшись спиной к холодильнику. Пульс бешено стучал в висках. Ладонь горела от удара.

— Лена, — начал он, убрав руку от лица, — я не хотел…

— Нет, хотели! — перебила она. — Вы точно знали, что делаете.

Он глядел на неё теперь совсем иначе — увидел не тень жены, а живую девушку, которую только что пытался поцеловать. Девушку, которую знал почти семь лет. Падчерицу.

— Я… — начал он снова, но осёкся.

Что он мог сказать? Какие слова могли исправить произошедшее? Границы нарушены. Доверие подорвано. Отношения, выстраиваемые годами, разрушены за мгновения.

— Я пойду к себе, — произнесла Елена, обходя его стороной.

— Лена, — он не пытался её удержать, но в интонации звучала мольба, — пожалуйста, не говори деду. Это убьёт его.

Она остановилась в дверях, не оборачиваясь:

— Не скажу. Но не потому, что вас жалею. А потому, что берегу его.

С этими словами она покинула кухню, оставив Сергея Витальевича с красным следом на щеке и безнадёжностью во взоре.

После того вечера Елена целенаправленно избегала отчима. Выработала систему: просыпалась раньше всех, чтобы успеть умыться и позавтракать до того, как он покинет спальню. Задерживалась в институте до позднего вечера, сидя в библиотеке или в пустой аудитории с конспектами. Если слышала его шаги в коридоре, тут же запиралась у себя или выскальзывала из квартиры под любым предлогом.

Обедать старалась в студенческой столовой, а ужинать — у Алины или других подруг. Если приходилось ужинать дома, уносила еду к себе в комнату, ссылаясь на обилие домашних заданий.

Сергей Витальевич не пытался с ней заговорить. Он тоже избегал встреч, тоже старался не оказываться с ней наедине. Когда это случалось — например, в коридоре, когда они сталкивались лицом к лицу, — он, потупив глаза, бормотал что-то невнятное и поспешно удалялся.

Дед ничего не замечал — погружённый в собственное горе, он проводил дни, перебирая старые фотографии дочери, читая её письма, просто сидя в кресле и глядя в окно невидящим взором. Олег, как обычно, почти не бывал дома — тренировки, соревнования, какая-то новая компания, в которой он проводил вечера. Квартира опустела, хотя формально в ней жили всё те же четыре человека. Только теперь они едва замечали друг друга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.